№ 81. ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ. 1860. PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIKA. № 81.

СТО ПЕРВЫЙ ГОДЪ СУЩЕСТВОВАНІЯ. SETNY PIERWSZY ROK ISTNIENIA.

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ — KURYER WILEŃSKI

ОФФИЦІАЛЬНАЯ ГАЗЕТА. — GAZETA URZĘDOWA.

„Виленскій Вѣстникъ" выходитъ по Вторникамъ и Пятницамъ. Условія подписки: Цѣна за годъ 10 р., съ пересылкою 12 р.; за полъ года 5 р., съ пересылкою 6 р.; за четверть года 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.; за 1 мѣсяцъ 84 к.— За объявленія платится за строку 17 к. сер.
Контора редакціи въ Вильнѣ, на Дворцовой улицѣ, въ Гимназіальномъ домѣ.

„Kuryer Wileński" wychodzi we Wtorek i Piątek. Cena roczna r. sr. z przesyłką 12 rub.; półrocznie 5 rub., z przesyłką 6; kwartalnie 2 r. 50 k., z przesyłką 3 r.; miesięcznie 84 kop.— Za ogłoszenia płaci się za każdy wiersz po kop. sr. 17.
Bióro redakcyi w Wilnie, przy ulicy Biskupiéj (Dworcowéj), w murach po-uniwersyteckich.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА въ 1861 году.

Окончивая первый годъ изданія Вѣстника въ новомъ его составѣ, мы должны сознаться, что онъ еще во многомъ не соотвѣтствуетъ прямому своему назначенію и современнымъ требованіямъ; ежели же онъ успѣлъ снискать общее сочувствіе, то это скорѣе надобно объяснить крайнею необходимостью подобнаго органа, долженствующаго служить вѣрнымъ отраженіемъ нашихъ нуждъ, точнымъ указателемъ благородныхъ стремленій къ улучшеніямъ по всѣмъ отраслямъ общественной дѣятельности.

Въ будущемъ мы можемъ обѣщать только одно, трудиться усердно и съ самоотверженіемъ, быть вѣрными однажды принятому девизу: *Любовь и истина.*

Первый годъ уже достаточно убѣдилъ насъ, что объемъ газеты слишкомъ малъ для своевременнаго удовлетворенія всѣхъ потребностей указываемыхъ временемъ и положеніемъ; поэтому мы по мѣрѣ возможности будемъ стараться распространять и обогащать наше изданіе трудами извѣстнѣйшихъ писателей, изъ коихъ многіе уже и въ нынѣшнемъ году доказали намъ свое сочувствіе.

Виленскій Вѣстникъ въ 1861 году, будетъ издаваться два раза въ недѣлю, по вторникамъ и пятницамъ, при содѣйствіи тѣхъ же постоянныхъ членовъ Редакціи, сотрудниковъ и корреспондентовъ, какъ въ краѣ, такъ и за границею, по программѣ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной въ 22 день декабря 1859 года и введенной съ 1-го января 1860 года.

Виленскій Вѣстникъ и въ будущемъ 1861 году, будетъ раздѣляться на четыре отдѣла:
1) Часть оффиціяльная, или внутреннія извѣстія.
2) Иностранныя извѣстія.
3) Литературный отдѣлъ.
4) Казенныя и частныя объявленія.

Условія подписки:

На годъ въ Вильнѣ 10 р. с. съ пересылкою во всѣ города имперіи и царства Польскаго 12 р.
На полгода — 5 — — — — — — — 6 р.
На три мѣсяца 2 руб. 50 коп. — — — — — — 3 р.
На одинъ мѣсяцъ безъ пересылки 1 руб.

Подписка принимается:

Въ Вильнѣ: въ конторѣ редакціи, въ зданіи гимназіи, насупротивъ дворца.
Кромѣ того, на годъ и полгода, съ пересылкою, въ газетной экспедиціи Виленскаго почтамта.
Въ С. Петербургѣ: у коммиссіонера редакціи Н. И. Крашенинникова, на углу Невскаго проспекта и Адмиралтейской площади, въ домѣ Греффа.
Въ Варшавѣ: у коммисіонера редакціи, І. Оконскаго.
Въ Кіевѣ: у коммис. редак., книгопр. А. Идзиковскаго.
Въ Житомирѣ: въ книжномъ магазинѣ К. Будкевича.
Въ Минскѣ: у г. Валицкаго.
Въ Ковнѣ: въ магазинѣ г. Мронговіуса.
Въ Витебскѣ: у г. помѣщика Артемія Даревскаго-Вериги.
Въ Могилевѣ: у книгопродавца Сыркина.
За объявленія плотится 17 коп. сер. за строку.

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ А. КИРКОРЪ.

O WYDAWNICTWIE KURJERA WILEŃSKIEGO NA ROK 1861.

Kończąc rok pierwszy wydawnictwa Kurjera według nowego rozszerzonego programmatu, musimy wyznać, że pismo nasze nie mogło w zupełności odpowiedzieć swemu założeniu i wymaganiom współczesnym; współczucie zaś ogólne, któreśmy zdołali pozyskać w krótkim przebiegu naszego zawodu, dowodzi raczej jak był niezbędnie potrzebny podobny organ dla odbicia obecnego stanu, dla bliższego porozumienia się i wskazania wszelkich szlachetnych usiłowań ku ulepszeniu we wszystkich gałęziach działalności społecznej.

Na przyszłość, jedno tylko obiecywać możemy czytelnikom naszym: *pracę sumienną, cześć dla prawdy, miłość dla wszystkiego co zacne i szlachetne*; tego godła nie odstąpimy nigdy.

Doświadczenie przekonało nas, że objętość pisma niedostateczną jest dla uczynienia zadość wszystkim wymaganiom chwili bieżącej i potrzeb miejscowych; dla tego w miarę możności i środków starać się będziemy rozszerzać zakres pisma i wzbogacać pracami najznakomitszych naszych pisarzy, z liczby których już w roku bieżącym nie jeden dał nam dowód swojego współczucia.

Kurjer Wileński wychodzić będzie i w roku 1861 dwa razy na tydzień we Wtorki i Piątki, przy współdziałaniu tych samych stałych członków Redakcji, współpracowników i korrespondentów jak w kraju tak też za granicą zamieszkałych, według programmatu NAJWYŻEJ zatwierdzonego na dniu 22 grudnia 1859 roku i wprowadzonego od 1-go stycznia 1860 roku.

Pismo nasze jak dotąd składać się będzie z czterech głównych działów:
I. Część urzędowa, czyli wiadomości krajowe.
II. Wiadomości zagraniczne.
III. Dział literacki.
IV. Ogłoszenia skarbowe i prywatne.

Warunki prenumeraty:

Rocznie w Wilnie 10 r. z przesyłką do wszystkich miast Cesarstwa i Król. polskiego 12 r.
Półrocznie — 5 — — — — — — — 6 r.
Kwartalnie — 2 rub. 50 kop. — — — — — 3 r.
Miesięcznie bez przesyłki rs. 1.

Można prenumerować:

W Wilnie: w kantorze Redakcji, w gmachu gimnazjalnym naprzeciw dworca.
Oprócz tego, rocznie i półrocznie z przesyłką w ekspedycji gazet poczatmtu Wileńskiego.
W St. Petersburgu: u kommissanta Redakcji P. Kraszeninnikowa, na rogu Newskiego prospektu i placu Admiralicji, w domu Greffa.
W Warszawie: u kommissanta Redakcji Okońskiego.
W Kijowie: u kommissanta Redakcji Idzikowskiego.
W Żytomierzu: w księgarni K. Budkiewicza.
W Mińsku: u p. Walickiego.
W Kownie: w magazynie Mrongowjusa.
W Witebsku: u obywatela Artemjusza Darewskiego-Weryhy.
W Mohylewie: u księgarza Syrkina.
Za ogłoszenie płaci się 17 kop. sr. od wiersza.

REDAKTOR WYDAWCA A. H. KIRKOR.

ВИЛЬНО.

Въ 72 N. Вѣстника мы напечатали письмо г. Кулина о происшествіи съ Евреями на желѣзной дорогѣ въ Вильнѣ, вблизи дебаркадера. Изъ статьи этой сдѣланы извлеченія въ нѣсколькихъ Русскихъ газетахъ и самое происшествіе получило видъ факта, доказывающаго будьтобы нетерпимость Виленцевъ къ Евреямъ.

Между тѣмъ мы получили письмо отъ всѣми уважаемаго здѣшняго доктора мед. *Л. Товянскаго*, разъясняющаго это происшествіе и потому считаемъ долгомъ сдѣлать изъ него нѣкорыя извлеченія:

„Въ письмѣ г. Кулина, говоритъ докторъ Товянскій, весьма понятно столкновеніе уличныхъ мальчишекъ и извощика съ евреями, но темно и двусмысленно заключеніе, что это фактъ громко говорящій за себя.

Чѣмъ говоритъ и какъ говоритъ?—вопросъ, который мы себѣ задали! Нѣтъ ничего удивительнаго, что шалуны мальчишки, а съ ними извощикъ вѣроятно въ тойже средѣ взросшій, толкнули зѣваку, который покатился внизъ по весьма впрочемъ мягкой, песчаной и не очень крутой насыпи полотна желѣзной дороги. Намъ кажется, что по такой плоскости и въ такомъ грунтѣ, трудно и невозможно *летѣть*, имѣя вѣсъ взрослаго человѣка. Безъ обширныхъ познаній физики знаемъ, что всякое тѣло по твердой плоскости котится со скоростью возрастающею на пространствѣ, но на мягкой песчаной вязнетъ и останавливается. Это фактъ.

Не каждый крикъ есть доказательствомъ боли—кричатъ отъ испуга, кричатъ отъ злости и досады, а всего чаще кричатъ въ надеждѣ вызвать сочувствіе; не подвергался ли одному изъ этихъ фактовъ скотившійся?

Что евреи и еврейскія женщины не рѣшались взбираться на насыпь—это несомнѣнный фактъ. Всѣмъ и каждому извѣстно, что въ характерѣ еврея преобладающій элементъ самоохраненія очень развитъ;—откуда же могла взяться смѣлость, особенно у евреекъ, стоять въ двухъ шагахъ отъ рельсовъ при проходящихъ вагонахъ? на это нужно привычки и опыта, чего еще не могли пріобрѣсть Виленскіе жители, видѣвшіе только нѣсколько разъ движеніе вагоновъ.

Не находя никакихъ фактовъ въ сказанномъ, мы должны ихъ сами искать, догадываться, и такъ: что уличные мальчишки ради при каждомъ случаѣ подшутить надъ трусомъ—это фактъ; что они умѣютъ выбирать минуты суматохи для своихъ шалостей—это фактъ; что при сборѣ зѣвакъ, чаще всего достается отъ нихъ евреямъ, за то, что въ свою очередь, еврейки постоянно ведутъ уличную войну съ гаменями, и въ обыкновенное время перевѣсъ бываетъ на сторонѣ евреевъ—это фактъ; что въ толпѣ сдѣлавъ шалость, легче мальчишкѣ ускользнуть отъ полицейскаго сторожа и слѣдовательно наказанія—это фактъ. Но во всѣхъ приведенныхъ фактахъ мы не видимъ ничего необыкновеннаго, громко говорящаго—и ежели вспомнить шалости гаменовъ всѣхъ столицъ и городовъ запада, то онѣ весьма разнообразны, однакоже никто не придаетъ имъ значенія какого то громкаго факта.

Не время кажется возобновлять средневѣковыя распри. Довольно уже этихъ жалобныхъ стоновъ, ихъ смѣшно слушать; зачѣмъ придавать обыкновенному ничтожному по себѣ происшествію значеніе важнаго факта.

Описываемую шалость мальчишекъ, г. Кулинъ называетъ *забавою христіанъ;* не лучше ли было назвать шалостью толпы, уличныхъ мальчишекъ, что конечно было бы приличнѣе и не наводилобы незаслуженнаго упрека намъ христіянамъ. Что мы своими дѣйствіями не заслужили упрековъ со стороны евреевъ, такъ это фактъ! Съ

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

Ст.-Петербургъ, 8 октября.

ТЕЛЕГРАФИЧЕСКАЯ ДЕПЕША
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
въ г. Гродно.

Имѣю счастіе всеподданнѣйше поздравить ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО: Пишпекъ *), послѣ пятидневныхъ осадныхъ работъ, 4-го сентября сдался безусловно со всѣмъ гарнизономъ и крѣпостнымъ имуществомъ.—Плѣнныхъ 627 челов.—Изъ трофеевъ: сѣкира Атабека Датхи, 3 знамени съ бунчукомъ, 5 мѣдныхъ орудій и 11 небольшихъ чугунныхъ пушекъ.

Потеря съ нашей стороны ничтожна. Раненъ 1 офицеръ; убитъ нижній чинъ 1, ранено 5 и контуженъ 1.

Здоровье войскъ—отлично. Больныхъ въ отрядѣ всего 8 человѣкъ.

Подписалъ: военный министръ,
генералъ-адъютантъ *Сухозанетъ.*

4 октября 1860 г.

—

Указомъ правительствующаго сената 15-го сентября произведенъ за выслугу лѣтъ, по вѣдомству Императорскаго Человѣколюбиваго общества—въ титулярные совѣтники—казначей Слуцкаго попечительнаго о бѣдныхъ комитета, коллежскій секретарь Павелъ *Ромашко:* утверждены: по Ковенской губерніи, въ чинѣ коллежскаго секретаря бывшій попечитель сельскихъ запасныхъ магазиновъ въ Россіенскомъ уѣздѣ Ипполитъ *Биллевичъ,* по степени кандидата ИМПЕРАТОРСКАГО Дерптскаго университета; въ чинѣ коллежскаго регистратора—помощникъ столоначальника губернскаго правленія Іосифъ *Кобецкій* и письмоводитель при корчемномъ засѣдателѣ Ковенскаго уѣзда Феликсъ *Кобецкій*, по аттестатамъ Виленской губернской гимназіи; переименованы: по Гродненской губерніи: въ губернскіе секретари—опредѣленный стряпчимъ Гродненской палаты государственныхъ имуществъ, отставной флота лейтенантъ Василій *Шпееръ*, соотвѣтственно его прежнему военному чину мичмана; въ коллежскіе регистраторы—опредѣленный письмоводителемъ при корчемномъ засѣдателѣ Брестскаго уѣзда, отставной подпоручикъ арміи Николай *Странбургскій*, соотвѣтственно прежнему его военному чину прапорщика;—произведены въ отставку: по вѣдомству Могилевской губернской посреднической коммисіи: въ губернскіе секретари—бывшій канцелярскій чиновникъ Могилевскаго и Быховскаго посредника полюбовнаго спеціальнаго межеванія земель, коллежскій регистраторъ Ѳедоръ *Осмоловскій.*

— ***Высочайшій указъ, данный капитулу орденовъ 8-го августа:***

На основаніи орденскихъ статутовъ: помѣщенныхъ въ учрежденіи орденовъ, статей: 227, 245, 301, 322, 339, 353, 546, 595 и 656 съ пожалованныхъ орденами полагается единовременный денежный взносъ на дѣла богоугодныя. Постановленія о взысканіи сихъ единовременныхъ денегъ состоялись въ различныя времена, отчего количество взносовъ по каждому ордену распредѣлено неуравнительно и несоотвѣтственно съ значеніемъ каждаго ордена и съ постепенностью пожалованія оныхъ.

Нынѣ признавъ за благо привести въ большую равномѣрность единовременные по пожалованію орденами взносы, соотвѣтственно важности каждаго ордена, повелѣваемъ:

1) Съ пожалованныхъ орденами взимать и доставлять въ капитулъ: по ордену святаго апостола Андрея первозваннаго — пятьсотъ рублей, по ордену святыя великомученицы Екатерины: первой степени — четыреста рублей и второй степени—двѣсти пятьдесятъ рублей; по ордеру святаго Александра Невскаго — четыреста рублей; по ордену Бѣлаго Орла — триста рублей; по ордену святаго равноапостольнаго князя Владиміра: первой степени — четыреста пятьдесятъ рублей, второй степени — двѣсти двадцать пять рублей, третьей степени — сорокъ пять рублей и четвертой степени—сорокъ рублей; по ордену святыя Анны: первой степени съ Императорскою короною — двѣсти рублей, той же степени безъ короны— сто пятьдесятъ рублей, второй степени съ Императорскою короною — тридцать пять рублей, той же степени безъ короны—тридцать пять рублей, третьей степени — двадцать рублей и четвертой степени — десять рублей и по ордену святаго Станислава: первой степени — сто двадцать рублей, второй степени съ Императорскою короною — тридцать рублей, той же степени безъ короны — тридцать рублей и третьей степени—пятнадцать рублей.

2) При пожалованіи за военные подвиги мечей къ имѣющемуся уже у кавалера ордену какой-либо степени, пожалованному за другія, невоенныя отличія, взимать по таковому пожалованію мечей половину суммы, которая, по предшедшей статьѣ, опредѣлена ко взысканію по тому же ордену и степени.

3) Съ пожалованныхъ орденомъ святыя Анны второй, третьей и четвертой степеней за военныя отличія, подлежавшихъ, на основаніи 596-й статьи учрежденія орденовъ, единовременному денежному взносу только при поступленіи въ комплектъ пансіонеровъ, взимать впредь установленный предшедшими статьями единовременный взносъ при самомъ пожалованіи, подобно тому, какъ сіе взимается съ жалуемыхъ, за военныя же отличія, орденами святаго Владиміра четвертой степени и святаго Станислава второй и третьей степеней.

4) Дѣйствіе правилъ, постановленныхъ въ предъидущахъ статьяхъ настоящаго указа, распространить на лица, которыя пожалованы будутъ орденами со дня состоянія указа.

5) Оставить въ своей силѣ правила объ изъятіяхъ отъ единовременныхъ по орденамъ взносовъ, постановленныя въ статьяхъ 250, 251, 265, 266, 389 и 546 учрежденія орденовъ.

6) Въ распоряженіе комитета о раненыхъ передавать изъ единовременныхъ взносовъ по орденамъ опредѣленную часть въ прежнемъ количествѣ.

Капитулъ орденовъ имѣетъ сдѣлать о семъ надлежащее распоряженіе.

*) Укрѣпленіе Пишпекъ находится въ землѣ Кокапцевъ, на границѣ Западной Сибири, въ верховьяхъ рѣки Чу.

ГРОДНО, БѢЛОСТОКЪ И БѢЛОВЕЖЪ.

4 октября прибыли въ Гродно, Ихъ Высочества принцы Карлъ Прусскій, Альбертъ Прусскій, Фридрихъ Гессенъ Кассельскій и Августъ Виртембергскій *). Послѣ завтрака, къ которому были приглашены Гродненскій гражданскій губернаторъ, дѣй. ст. сов. *Шпееръ* и на

*) Для Принцевъ, проѣзжавшихъ черезъ Гродно, устроено было помѣщеніе въ квартирѣ председателя Грод. каз. пал. ст. сов. *Бялоцкаго.*

WIADOMOŚCI KRAJOWE.

St. Petersburg, 8 października.

DEPESZA TELEGRAFICZNA DO
JEGO CESARSKIEJ MOŚCI
w M. Grodnie.

Mam szczęście najpoddaniéj powinszować WASZEJ CESARSKIEJ MOŚCI: Piszpek *), po pięciodniowych robotach oblężniczych, 4-go września poddał się bezwarunkowo z całą załogą i ruchomością twierdzy.— Jeńców 627.— Z trofeow: topor Atabeka Datcha, 3 chorągwie z buńczukiem, 5 dział mosiężnych i 11 niewielkich dział spiżowych.

Straty z naszéj strony nic nieznaczące. Raniony 1 oficer; poległ 1 szeregowiec, raniono 5 i otrzymał kontuzją 1.

Zdrowie wojska—wyborne. Chorych w oddziale tylko 8 ludzi.

Podpisał: minister wojny
jenerał-adjutant *Suchozanet.*

4 października 1860 r.

—

Przez ukaz rządzącego senatu, 15-go września, za wysługę lat zostali mianowani: w wydziale CESARSKIEGO towarzystwa dobroczynności, radzcą honorowym — kassjer Słuckiego opiekuńczego komitetu biednych, sekretarz kollegjalny *Romaszko.* Utwierdzeni: w gubernji: Kowieńskiéj: w randze sekretarza kollegjalnego — były kurator wiejskich magazynów zapasowych w powiecie Rossieńskim Hippolit *Billewicz*, na mocy stopnia kandydata CESARSKIEGO uniwersytetu dorpackiego; w randze regestratora kollegjalnego — pomocnik naczelnika stołu rządu gubernjalnego Józef *Kobecki* i sekretarz przy assesorze przemytniczym powiatu Kowieńskiego Feliks *Kobecki*, na mocy atestatu Wileńskiego gimnazjum gubernjalnego;—przemianowani: w gubernji Grodnieńskiéj: sekretarzem gubernjalnym, naznaczony strapczym Grodzieńskiéj izby dóbr państwa, dymissjonowany porucznik marynarki Bazyli *Szpejer*, stosownie do uprzedniéj jego rangi wojskowéj miczmana; regestratorem kollegjalnym — naznaczony sekretarzem przy assesorze przemytniczym powiatu Brzeskiego, dymisjonowany podporucznik armji Mikołaj *Stranburgski*, stosowanie do uprzedniéj jego rangi wojskowéj chorążego;—mianowany przy dymisji: w wydziale Mohylewskiej gubernjalnéj kommisji pośredniczéj, sekretarzem gubernjalnym — były urzędnik kancellaryjny Mohylewskiego i Bychowskiego pośrednika polubownego specjalnego rozgraniczenia gruntów, regestrator kollegjalny Teodor *Osmołowski.*

— Najwyższy ukaz do kapituły orderów pod dniem 8-m sierpnia:

Na zasadzie statutów orderowych, umieszczonych w ustawie orderów, artykułów: 227, 245, 301, 322, 339, 353, 546, 595 i 656 od udarowanych orderami naznacza się jednorazowa opłata pieniężna na cele dobroczynne. Takowe jednorazowe opłaty pieniężne ustanowione zostały różnoczasowie, przez co ilość opłaty za każdy order nie jest stosunkowo jednostajną i odpowiednią przeznaczeniu każdego orderu, według kolei mianowania.

Obecnie uznawszy za dobre przyprowadzić do ściślejszéj względem siebie odpowiedności jednorazowe za udarowanie orderami opłaty, stosownie do ważności każdego orderu, rozkazujemy:

1) Od udarowanych orderami uzyskiwać i przysyłać kapitule: za order świętego apostoła Andrzeja pierwszego wezwania — pięćset rubli, za order świętéj wielkiéj męczenniczki Katarzyny: pierwszéj klassy — czterysta rubli i drugiéj klassy—dwieście pięćdziesiąt rubli; za order świętego Aleksandra Newskiego — czterysta rubli; za order Orła Białego—trzysta rubli; za order świętego równego apostołom księcia Włodzimierza: pierwszéj klassy — czterysta pięćdziesiąt rubli, drugiéj klassy — dwieście dwadzieście pięć rubli, trzeciéj klassy — czterdzieści pięć rubli i czwartéj klassy — czterdzieści rubli; za order świętéj Anny: pierwszéj klassy z koroną Cesarską — dwieście rubli, tejże klassy bez korony—sto pięćdziesiąt rubli, drugiéj klassy z koroną Cesarską, trzydzieści pięć rubli, tejże klassy bez korony — trzydzieści pięć rubli, trzeciéj klassy—dwadzieście rubli i czwartéj klassy — dziesięć rubli i za order świętego Stanisława: pierwszéj klassy — sto dwadzieście rubli, drugiéj klassy z koroną Cesarską — trzydzieści rubli, tejże klassy bez korony — trzydzieści rubli i trzeciéj klassy — piętnaście rubli.

2) Przy nadaniu za czyny wojenne mieczów do posiadanego już przez kawalera orderu jakiejkolwiek klassy, nadanego za inne nie wojenne odznaczenia się, brać za takie nadanie mieczów połowę téj summy, jaka na zasadzie artykułu poprzedzającego, naznaczona jest za tenże order i klassę.

3) Od udarowanych orderem świętéj Anny drugiéj, trzeciéj i czwartéj klassy za odznaczenia się wojenne, którzy na mocy 596 artykułu ustawy orderów, ulegają jednorazowéj opłacie pieniężnéj jedynie w razie wejścia do kompletu pensjonarjuszów, pobierać nadal przepisaną artykułami poprzedzającemi opłatę jednorazową przy samém udarowaniu, podobnie jak się to pobiera od udarowanych, także za odznaczenia się wojenne, orderami świętego Włodzimierza czwartéj klassy i świętego Stanisława drugiéj i trzeciéj klassy.

4) Obowiązującą moc przepisów, w poprzedzających artykułach niniejszego ukazu ustanowionych, rozciągnąć na osoby, które udarowane będą orderami od daty nastania ukazu.

5) Pozostawić w swojéj mocy przepisy o wyłączeniach od jednorazowych za ordery opłat, znajdujące się w artykułach 250, 251, 265, 266, 389 i 546 ustawy o orderach.

6) Do rozporządzenia komitetu o ranionych przesyłać z opłat jednorazowych za ordery, część ustanowioną w ilości dotychczasowéj.

Kapituła orderów ma uczynić o tem należyte rozporządzenie.

*) Warownia Piszpek znajduje się w ziemi Kokańców, na granicy Syberji Zachodniéj, u źródeł rzeki Czu.

GRODNO, BIAŁYSTOK i BIAŁOWIEŹ.

Dnia 4-go października, o godzinie 11 z rana przybyli do Grodna Ich Wysokości Książe Karol Pruski Albert Pruski, Fryderyk Hessko-Kasselski i August Wirtemberski *). Po śniadaniu, na które zaproszeni byli Grodzieński gubernator cywilny, rzecz. radz. stanu Szpejer

*) Dla Książąt przejeżdżających przez Grodno urządzone było pomieszkanie w kwaterze prezydenta Grodz. izby skar. radzcy stanu *Białockiego.*

1330 года евреи живутъ съ нами и что же могутъ сказать противъ насъ? Великолѣпныя палаты, дома, жемчугъ, дорогіе уборы, вотъ факты ихъ жизни съ нами. Какая разница быта здѣшняго еврея съ жизнію ихъ въ Турціи, Персіи, Арменіи, я видѣлъ лично. Тамъ то слѣдовало бы искать фактовъ—нищеты, рабства и гоненія, тамъ то во всей силѣ тяготитъ иго угнетенія и отчужденія евреевъ.

Теченіемъ вѣковъ, конечно, со стороны христіанъ были факты гоненія и преслѣдованія Евреевъ. Но сколько же было и въ защиту ихъ. Пусть прочтутъ замѣчательное повелѣніе Папы Иннокентія III, угрожавшаго католикамъ отлученіемъ отъ церкви, за неуваженіе обрядовъ Евреевъ. Папа Григорій великій громко возставалъ за преслѣдованія Евреевъ въ западной Европѣ. Папа Клементій VI явился защитникомъ Евреевъ отъ гоненій въ Германіи, Испаніи и Франціи, въ памятный чумный 1348 годъ, пріютивъ ихъ у себя въ Авиньонѣ. Въ памятный сборъ Евреевъ, созванный въ 1807 году, по желанію Наполеона 1-го, въ Парижѣ, ученый Еврей Авигдоръ, предложилъ собранію издать благодарственный адресъ отъ имени всего еврейскаго народа за оказанные ихъ братіямъ въ самыхъ отдаленныхъ краяхъ услуги. Да и въ нашемъ краѣ, сколько было случаевъ, доказывающихъ терпимость и дружескія отношенія къ Евреямъ, кои не разъ достаточно убѣдили, что мы готовы дѣлить съ ними хорошее и дурное.

Намъ кажется, что именно теперь настало время *мирить,* а *не раздражать*, и не лучшели бы поступилъ г. Кулинъ, ежели бы вмѣсто того, чтобы сдѣлать изъ мухи слона и заставить думать незнакомыхъ съ происшествіемъ, что въ Вильнѣ безнаказанно допускается подобное преслѣдованіе Евреевъ, повторяемъ не лучше ли бы было, чтобы г. Кулинъ видя шалость простаго народа, взялъ на себя трудъ тутъже урезонить его, или обратиться къ полицейской власти для прекращенія своеволія. Вотъ это такъ былъбы фактъ, доказывающій его любовь къ ближнему. А теперь, да проститъ намъ господинъ Кулинъ, право грустно убѣждаться, что мы такъ храбры на словахъ, а слабы на дѣлѣ. Ученый раввинъ Крейзенахъ въ своемъ *Thariag* (Francfort-sur le Mein 1833) громко жалуется на растлѣніе Еврейзма. Къ чему же еще и намъ подливать ядъ раздора и взаимной вражды, когда времѧ и событія давно сблизили и примирили насъ съ Евреями.“

Съ этимъ и мы совершенно согласны, хотя не можемъ не сказать нѣсколько словъ и въ защиту г. Кулина, которому, конечно не могло понравиться скатываніе Еврея съ полотна жел. дороги, хотябы и по самому рыхлому песку. Намъ кажется, что всего виновнѣе въ этомъ случаѣ надсмотрщики за рабочими на желѣзной дорогѣ, которымъ слѣдовало воздержать своихъ рабочихъ и уличныхъ мальчишекъ отъ непростительныхъ шалостей.

Кстати ужъ мы заговорили о Евреяхъ, такъ перейдемъ къ болѣе серіозному вопросу, *о праздношатательствѣ* Евреевъ. Въ нынѣшнемъ году появились два Еврейскіе журнала: „Гакармель“ въ Вильнѣ и „Развѣтъ“ въ Одессѣ. О первомъ мы уже говорили въ Вѣстникѣ, и теперь развѣ повторимъ только то, что пора бы г. Фину, имѣя такого способнаго и благонамѣреннаго сотрудника въ г. Волѣ, обратить болѣе серіозное вниманіе на современные еврейскіе вопросы, пора выступить на полѣ брани и смѣло объявить войну суевѣрію, предразсудкамъ, невѣжеству, праздности, высказывать нужды и положеніе своихъ единовѣрцевъ, въ особенности нищаго класса, угнетеннаго нищетою и слѣпо повинующагося фанатикамъ, большею частію изъ честолюбія, или корыстныхъ видовъ, деспотически надъ ними владычествующихъ. Гакармель можетъ имѣть самое благодѣтельное вліяніе на здѣшнихъ Евреевъ, знакомя правительство съ дѣйствительнымъ ихъ положеніемъ и указывая на необходимыя мѣры улучшеній ихъ быта и преобразованій. Другое дѣло *Развѣтъ.* Другое дѣло и Евреи южныхъ губерній Россіи. Они далеко и давно уже опередили своихъ единовѣрцевъ въ западныхъ губерніяхъ. Поэтому неудивительно, что и органъ ихъ съ самаго появленія своего, занялъ серіозное и почетное мѣсто. Съ отраднымъ чувствомъ и истинною радостію прочли мы на страницахъ *Развѣта* слѣдующія строки (N. 12, 12 августа):

„Жизнь наша—это смѣсь всякихъ противорѣчій, несовершенствъ, сторонъ свѣтлыхъ и темныхъ, высокихъ и смѣшныхъ. Полнаго ничего нѣтъ въ жизни. Радость, недавно навѣянная на насъ съ сѣвера, омрачается печальными извѣстіями, полученными съ западной полосы нашего отечества. Мы прочли въ 149-мъ N. Московскихъ Вѣдомостей приказъ г-на Виленскаго военнаго и Гродненскаго и Ковенскаго генералъ-губернатора, выразившаго свое неудовольствіе начальникамъ нѣкоторыхъ городовъ, за открытые имъ безпорядки. Въ этомъ приказѣ, между прочимъ, говорится: „Еврейскіе дома представляютъ отвратительный видъ, съ ихъ разбросанными крышами и обвалившимися заборами; улицы и внутренніе дворы содержатся въ крайней нечистотѣ, тогда какъ все еврейское населеніе, не имѣя никакихъ занятій, кромѣ праздношатательства по улицамъ, легко могло бы быть употреблено къ очисткѣ городовъ и приведенію жилищъ своихъ въ опрятное состояніе“. Грустно читать эти рѣзкія истины, еще грустнѣе намъ повторять ихъ; но—amicus Plato, sed magis amica veritas. Еврей во многихъ мѣстахъ Россіи есть истинный представитель неопрятности и непростительной безпечности. Починить крышу своего дома, держать въ чистотѣ свой дворъ или улицу передъ дворомъ,— эти вещи будто бы недостойныя его вниманія. Онъ будетъ толковать вкривь и вкось о томъ, что дѣлалось за 2000 лѣтъ, о томъ, куда заходилъ и куда не смѣлъ заходить Александръ Македонскій, о томъ, что будетъ на свѣтѣ, когда ужъ *ничего не будетъ;* а о томъ, что у него дѣлается подъ носомъ, онъ и думать забылъ. Всякій еврей хочетъ, чтобъ его сынъ былъ свѣдущъ въ законѣ, чтобъ онъ былъ „талмидъ-хахамъ“ (ученый, человѣкъ comme il faut),— это прекрасно; всякій еврей старается строго исполнять предписанія своего закона, развитіемъ котораго служитъ Талмудъ, — въ этомъ нѣтъ ничего непохвальнаго. Но непохвально то, что самыя важныя предписанія закона многіе евреи оставляютъ безъ вниманія. Въ Талмудѣ, который мы уважать обязаны, сказано, что „талмидъ-хахамъ“ до того долженъ соблюдать опрятность, что если найдется грязное пятно на его платьѣ, то онъ достоинъ казни. Гдѣ нѣтъ знанія законовъ общежитія,—говоритъ „Талмудъ,—тамъ и наука (Тора) не можетъ держаться. Кто не обучаетъ своего сына какому-нибудь ремеслу,—говоритъ опять тотъ-же Талмудъ,—тотъ приготовляетъ его въ грабители... Гдѣ же исполненіе всего этого? Но если евреи не хотятъ обращаться къ этимъ прекраснымъ предписаніямъ нашихъ мудрыхъ учителей, то обратились бы они по крайней мѣрѣ къ своимъ собственнымъ глазамъ. Что можетъ быть отвратительнѣе разбросанныхъ крышъ, повалившихся заборовъ, кучъ сора и разныхъ нечистотъ, праздношатательства по улицамъ безъ цѣли и пользы! Все это способствуетъ только къ развитію болѣзней, неряшества, пороковъ. Положимъ, что многіе могутъ сослаться на бѣдность; но вымести соръ у себя изъ комнаты, подчистить грязь на улицѣ предъ своимъ домомъ можетъ и бѣдный; можетъ и долженъ, вмѣсто того, чтобъ умножать собой праздную толпу. Бѣдность почтенна тѣмъ, что она скромно и покорно переноситъ свои лишенія, но не тѣмъ, что она оборвана и выставляетъ на показъ свою грязь. Мы вѣдь имѣемъ тутъ дѣло не съ нищими по ремеслу, а съ людьми, имѣющими *свои дома.* Спора нѣтъ, и тутъ есть бѣдные; но мы знаемъ, что они всѣ по буднямъ носятъ длинные кафтаны; что часто у этихъ бѣдныхъ имѣется въ запасѣ шелковое праздничное платье для себя и жены, правда, запачканное, но шелковое,—или нѣсколько паръ мужескихъ чулковъ, длинныхъ, грязныхъ, дирявыхъ, но все-таки чулковъ. Теперь мы спрашиваемъ: вмѣсто длиннаго кафтана, котораго полы нужно затыкать за поясъ, когда приходится подмазывать возъ или дѣлать что-нибудь другое, не лучше ли носить простую куртку? Не лучше ли вмѣсто шелковаго выпачканнаго платья имѣть чистое бумажное? Не лучше ли имѣть пару сапогъ крѣпкихъ, которая послужитъ полгода, чѣмъ носить круглый годъ осадившіеся башмаки и порванные грязные чулки? Не дешевле ли все это будетъ стоить? Все лишнее, пропадающее на служащія только помѣхой длинныя полы, шелковую матерію и проч., пошло бы лучше на починку забора или крыши. И сколько бы тутъ хорошаго вышло, отъ одного только устраненія гадкаго и неловкаго костюма! И платье было бы чистое, удобное; и отъ сбереженной копѣйки домъ былъ бы въ приличномъ видѣ; и занятіе было бы около своего домишки, вмѣсто бездѣлья и праздности. Посмотрѣли бы наши евреи на малороссійскихъ крестьянъ: и тамъ часто встрѣчаются большія лишенія, даже крайняя бѣдность: но каждую найденную соломинку, или щепку прилѣпляетъ малороссіянинъ къ своей избушкѣ, его хозяйка росписываетъ стѣны чѣмъ Богъ послалъ, сынъ подпираетъ плетень, дочь возстановляетъ завалинку. Передъ такою бѣдностью снимаешь шапку, и кланяешься съ почтеніемъ.

На раввинахъ лежитъ обязанность положить конецъ этой неопрятности. Они также должны внушить своимъ прихожанамъ, что отвратительный костюмъ ихъ отмѣненъ привительствомъ, а по ученію нашему — исполненіе законовъ государственныхъ также должно быть свято, какъ законовъ Божескихъ. Къ прискорбію нашему, намъ стала снова встрѣчаться на улицахъ эта неуклюжая одежда, съ которою мы думали распрощаться на-вѣки. Что это за привязанность къ уродству, къ ермолкамъ, длиннымъ *пэисъ* и открытымъ шеямъ? Что это за щегольство въ *талисахъ* на улицахъ по субботамъ? Что это за туфли и халаты среди бѣла дня на площадяхъ? Неужели если строгость ослабѣла, то нужно опять возвращаться къ прошлымъ нелѣпостямъ? Мы просимъ нашихъ раввиновъ обратить вниманіе на это. Чѣмъ вызывать огорченія у благонамѣренныхъ начальниковъ и побуждать ихъ къ мѣрамъ строгости,—чѣмъ видѣть себя у позорнаго столба, печатно обличенными,— лучше, чтобъ раввины и вліятельныя въ обществахъ лица употребляли всѣ усилія къ устраненію того, что пятнаетъ нашъ народъ. Мы должны сами исправлять себя, потому что отъ чужихъ исправленій у насъ часто бока болѣли. Кто имѣетъ уши, тотъ да слышитъ!

О. Р.“

Не правда ли, что и передъ такой статьей невольно скинешъ шапку. Честь и слава Развѣту! Вотъ что именно и составляетъ благородную гласность. Мы были такъ восхищены этимъ номеромъ Еврейскаго органа; но увы! какъ же скоро разочаровалъ насъ Развѣтъ.

Въ слѣдующемъ листкѣ мы перейдемъ къ печальному 14 N этого журнала.

W

чальникъ дивизіи, ген. лей. *Гольтгоеръ*, Ихъ высочества отправились въ дальнѣйшій путь въ Бѣловежъ.

5 октября, въ 4 часа по полуночи благоволилъ прибыть въ Гродно ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, съ Его Высочествомъ Великимъ Герцогомъ Саксенъ Веймарскимъ, и остановиться въ губернаторскомъ домѣ. Въ 9 часовъ утра, имѣли счастіе представляться ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ военные и гражданскіе чиновники и дворянство. — Затѣмъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ слушать божественную литургію въ архіерейской церкви, отъ куда благоволилъ прибыть въ Соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ преосвященнымъ Игнатіемъ, епископомъ Брестскимъ съ духовенствомъ, а потомъ въ Р. Кат. фарный костелъ, гдѣ ожидали ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Гродненскій деканъ, ксендзъ Маевскій съ Р. К. духовенствомъ всего города. Отъ сюда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ отправиться на плацъ за Виленскою заставою, гдѣ произведенъ былъ смотръ Староингерманландскому пѣхотному князя Меньшикова полку и Гродненскому гарнизонному баталіону; затѣмъ изволилъ посѣтить губернскую гимназію, состоящее подъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ училище для приходящихъ дѣвицъ, а также человѣколюбивое общество, и послѣ завтрака, въ 4 часа, изволилъ отбыть въ дальнѣйшій путь, по тракту въ Бѣлостокъ.

Во время въѣзда ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА не смотря на позднее время ночи, большая часть населенія Гродна, встрѣтила ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО за Виленскою заставою, гдѣ были воздвигнуты тріумфальныя ворота, залитыя тысячами огней. Городъ былъ отлично иллюминованъ. Воздвигаемый управленіемъ желѣзной дороги мостъ на Нѣманѣ освѣщенъ былъ бенгальскимъ огнемъ. Изъ зданій, въ особенности отличились великолѣпнымъ освѣщеніемъ и транспарантами, дома: губернатора, казенной палаты, почтовый, госпиталь, архіерейскій, Ширмы и др.

5-го октября, въ 9 часовъ вечера ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, съ Его Высочествомъ Великимъ Герцогомъ Саксенъ-Веймарскимъ изволилъ благополучно прибыть въ Бѣлостокъ.

И здѣсь, какъ въ Гроднѣ, у въѣзда воздвигнуты были тріумфальныя ворота, великолѣпно освѣщенныя. Городской Голова съ купечествомъ и представителями городскихъ сословій поднесли ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ хлѣбъ и соль, а многочисленное стеченіе народа привѣтствовало ГОСУДАРЯ громкимъ ура; остановясь на нѣкоторое время въ приготовленномъ къ пріѣзду ГОСУДАРЯ домѣ, бывшемъ областнаго начальника, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ кушать чай и въ 10 часовъ вечера отбылъ въ селеніе Бѣловѣжъ, куда и прибылъ благополучно въ 4 часа по полуночи.

6-го Октября въ 10-ть часовъ утра ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ вмѣстѣ съ принцами прибывшими въ Бѣловѣжъ наканунѣ, среди многочисленнаго стеченія народа, поспѣшившаго въ Бѣловѣжъ для встрѣчи обожаемаго МОНАРХА, изволилъ осматривать селеніе. Въ 12 часовъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, принцы и вся свита, въ приготовленныхъ экипажахъ отправились въ средину Бѣловѣжской пущи, гдѣ на полянѣ,имѣющей въ длину около версты, устроено было 10 штандовъ, изъ коихъ первый предназначенъ былъ для ГОСУДАРЯ, а прочіе для Великаго Герцога, принцевъ и свиты. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ застрѣлить 18 штукъ, а въ томъ числѣ 4 зубра; вообще на охотѣ, продолжавшейся до 4 часовъ по пополудни, убито 39 штукъ. По возвращеніи въ Бѣловѣжъ, въ 5 часовъ у ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА былъ обѣденный столъ.

Вечеромъ Бѣловежъ былъ освѣщенъ бенгальскими огнями, а передъ домомъ занимаемымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ устроена была прекрасная иллюминація изображавшая древній готическій замокъ. Великолѣпное освѣщеніе, залившее тысячами огней всѣ окрестныя мѣста селенія, ликующія толпы угощаемаго народа собравшагося на охоту, тихая и теплая погода, производили необыкновенное зрѣлище и оставили во всѣхъ глубокое впечатлѣніе.

7 октября, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, послѣ краткой прогулки, въ 9 часовъ утра, изволилъ посѣтить сельскую церковь, осматривалъ памятникъ воздвигнутый по повелѣнію Августа III. въ 1752 году, а также Головинскую батарею, и въ 10 часовъ, вмѣстѣ съ высокими гостями, отправился на охоту. И въ этотъ день погода также благопріятствовала; охота была еще удачнѣе. Застрѣлено всего болѣе 50 штукъ. Собственно ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ застрѣлено 6 зубровъ, 4 кабана и 10 штукъ дикихъ козъ и ланей.

По возвращеніи въ Бѣловежъ, въ 3 часа по полудни у ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА былъ обѣденный столъ. Въ 5 часовъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ Великимъ Герцогомъ и Принцами изволилъ отправиться обратно въ Бѣлостокъ, куда и прибылъ благополучно въ 12 часовъ ночи.

— 8 октября въ 8½ часовъ утра ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, изволилъ произвести смотръ Псковскому пѣхотному фельдмаршала князя Кутузова Смоленскаго полку; послѣ чего благоволилъ посѣтить институтъ благородныхъ дѣвицъ, который осмотрѣвъ во всей подробности, изволилъ изъявить СВОЕ благоволеніе за найденный во всемъ порядокъ; отъ сюда ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ проѣхалъ въ православный Соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ мѣстнымъ протоіереемъ съ духовенствомъ, и послѣ краткаго молебствія, въ 10¼ часовъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ съ Принцами и со свитою, изволилъ отбыть по желѣзной дорогѣ въ Варшаву.

Съ самаго пріѣзда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА въ Вильно и до отбытія изъ Бѣлостока, продолжалась прекрасная, свѣтлая и теплая погода и все рѣшительно въ дорогѣ благопріятствовало Августѣйшему путешествію.

ВИЛЬНО.

Командиръ 1-го армейскаго корпуса, генералъ отъ инфантеріи *И. М. Лабинцовъ,* и Попечитель Виленскаго учебнаго округа, генералъ-лейтенантъ баронъ *Е. П. Врангель,* возвратились въ Вильно.

---

i naczelnik dywizji, jen. por. Goltgojer, Ich Wysokości udali się w dalszą drogę do Białowieży.

Dnia 5 października, o godzinie 4 zrana raczył przybyć do Grodna NAJJAŚNIEJSZY CESARZ JEGO MOŚĆ, wraz z Jego Wysokością Wielkim Księciem Sasko-Wejmarskim Karolem, i stanąć w domu gubernatorskim. O godzinie 9 zrana, mieli szczęście przedstawiać się JEGO CESARSKIEJ MOŚCI urzędnicy wojenni i cywilni, oraz szlachta. Następnie JEGO CESARSKA MOŚĆ raczył wysłuchać mszy ś. w cerkwi biskupiéj, skąd raczył udać się do Soboru, gdzie spotkany był przez przewielebnego Ignacego, biskupa Brzeskiego z duchowieństwem, a potém do rz. katol. kościoła farnego gdzie na przybycie JEGO CESARSKIEJ MOŚCI oczekiwał dziekan grodzieński, ksiądz Majewski z rzymsko-katolickiem duchowieństwem całego miasta. Stąd CESARZ JEGO MOŚĆ raczył udać się na plac za rogatkami Wileńskiemi, gdzie uskuteczniony był przegląd Staroingermanlandzkiego pułku piechoty ks. Menszykowa oraz grodzieńskiego bataljonu załogi; poczém raczył odwiedzić gimnazjum gubernjalne, znajdującą się pod opieką JEJ CESARSKIEJ MOŚCI MARYI ALEKSANDRÓWNY szkołę dla przychodzących panien, oraz towarzystwo dobroczynności; po śniadaniu zaś, o godzinie 4, raczył udać się w dalszą drogę, traktem na Białystok.

Podczas wjazdu JEGO CESARSKIEJ MOŚCI, pomimo późnéj nocnéj pory,większa część mieszkańców Grodna spotkała JEGO CESARSKĄ MOŚĆ za rogatkami Wileńskiemi, gdzie wzniesiony był łuk tryumfalny, jaśniejący tysiącami ogniów. Budujący się obecnie przez zarząd drogi żelaznéj most na Niemnie oświecony był ogniem bengalskim. Z gmachów, szczególniéj odznaczały się wspaniałością oświecenia i transparentami domy: gubernatora, izby skarbowéj, pocztowy, szpital, biskupi, Szyrmy i inne.

5-go października o godzinie 9 wieczorem NAJJAŚNIEJSZY CESARZ JEGO MOŚĆ z Jego Wysokością Wielkim Księciem Sasko-Wejmarskim, raczył szczęśliwie przybyć do Białegostoku. I tutaj jak, w Grodnie, przy wjeździe wzniesiony był tryumfalny łuk wspaniale oświecony. Głowa miasta z kupiectwem i deputatami miejskimi, spotkali JEGO CESARSKĄ MOŚĆ z chlebem i solą, a liczne tłumy ludu witały JEGO CESARSKĄ MOŚĆ głośnemi okrzykami. Zatrzymawszy się na czas krótki w przygotowanym na przyjazd NAJJAŚNIEJSZEGO PANA domu byłym naczelnika obwodu, JEGO CESARSKA MOŚĆ raczył pić herbatę i o g. 10 wieczorem raczył udać się do wsi Białowieży, dokąd szczęśliwie przybył o g. 4 po północy.

6-go października o godz. 10 zrana JEGO CESARSKA MOŚĆ razem z książętami, przybyłymi w przeddzień do Białowieży, śród licznych tłumów ludności, które pośpieszyły do Białowieży dla spotkania ukochanego MONARCHY, raczył opatrywać wieś.

O godz. 12-téj JEGO CESARSKA MOŚĆ książęta i cała świta, wsiadłszy do przygotowanych pojazdów, udali się do środka Białowieskiéj puszczy, gdzie na polanie długiéj na wiorstę urządzono było 10 stanowisk, z których pierwsze przeznaczone było dla JEGO CESARSKIEJ MOŚCI,a reszta dla Wielkiego Księcia i Świty. JEGO CESARSKA MOŚĆ raczył zastrzelić 18 sztuk w téj liczbie 4 zubrów; w ogóle na polowaniu, trwającém do godziny 4 po południu zabito 39 sztuk.Po powrócie do wsi Białowieży, o godz. 5 u JEGO CESARSKIEJ MOŚCI był obiad.

Wieczorem Białowież była oświecona bengalskiemi ogniami, a przed domem zajmowanym przez JEGO CESARSKĄ MOŚĆ urządzona była piękna illuminacja, przedstawiająca starożytny gotycki zamek. Rzęsiste oświecenie, które usiało tysiącami ogniów wszystkie okoliczne miejsca, liczne tłumy ugaszczanego ludu, zebranego na polowaniu, ciche i ciepłe powietrze sprawiały niezwykły widok i zostawiły na wszystkich głębokie wrażenie.

7 października, JEGO CESARSKA MOŚĆ, po użyciu krótkiego spaceru o godz. 9 zrana, raczył zwiedzić wiejską cerkiew i opatrywać pomnik wzniesiony z rozkazu króla Augusta III w 1752 r. a także Hołowińską baterję i o godzinie 10 razem z wysokiemi gośćmi udał się na polowanie. I w tym dniu pogoda również sprzyjała, polowanie było jeszcze pomyślniejsze. Zastrzelono w ogóle przeszło 50 sztuk. JEGO CESARSKA MOŚĆ właściwie zastrzelił 6 zubrów, 4 dziki i 10 sztuk sarn i łosiów.

Wróciwszy do Białowieży, o godz. 3 po południu był obiad u JEGO CESARSKIEJ MOŚCI. O godzinie 5-éj CESARZ JEGO MOŚĆ z Wielkim Księciem i Książętami raczył udać się napowrót do Białegostoku, dokąd przybył szczęśliwie o północy.

Dnia 8 października o godz. pół do 9-éj rano, JEGO CESARSKA MOŚĆ raczył odbyć przegląd Pskowskiego półku piechoty feldmarszałka księcia Kutuzowa smoleńskiego, a potém zwiedził instytut szlachetnych panien, który obejrzawszy we wszystkich szczegółach objawił Swoje podziękowanie za znaleziony we wszystkiém porządek. Ztąd JEGO CESARSKA MOŚĆ raczył udać się do prawosławnego soborn, gdzie był spotkany przez miejscowego protojereja z duchowieństwem, i po krótkiem nabożeństwie, o godzinie kwadrans na 11-tą, JEGO CESARSKA MOŚĆ z Książętami i ze świtą raczył udać się koleją żelazną do Warszawy.

Od samego przyjazdu JEGO CESARSKIEJ MOŚCI do Wilna i do wyjazdu z Białegostoku, trwała śliczna,jasna i ciepła pogoda, i wszystko najzupełniéj sprzyjało pomyślnéj podróży NAJJAŚNIEJSZEGO PANA.

WILNO.

JW. Dowódzca 1-go korpusu armji, jenerał piechoty *J. Łabincow,* i JW. Kurator okręgu naukowego Wileńskiego, jenerał-porucznik baron *J. Wrangiel,* powrócili do Wilna.

PAMIĘTNIKI MUCHY.

WYDANE

przez

ZBIGNIEWA.

(Dalszy ciąg ob. N. 80).

IV

Są kwiaty tajemnicze, co cicho i skrycie,
Rosną gdzieś tam nieznane na opoki szczycie,
O których nikt niewie, tylko tamci z góry,
Bóg, i jego anieli, i gwiazdy, i chmury!

Po owéj okropnéj scenie, jaka miała miejsce między mną, niewierną Kocią, a panem huzarem, opuściłem na długi czas rodzinną ziemię, i obleciałem świat do koła; za granicą widziałem mnóstwo obrazków, godnych spisania i Twoich uszu Najłaskawszy Sędzio, ale... kazałeś mi tylko szukać łzy na swojéj ziemi. Przeto po latach dziesięciu wracam znowu na tę ziemię, i śpieszę naprzód do mojego archiwum, zajrzeć, czyli też czas nie zrobił jakiéj szkody w moich rękopismach? Archiwum zaś moje mieściło się w ulu trutniów, byli to bowiem moi przyjaciele, literaci i autorowie co pisali powieści, romanse, poezje, krytyki, i rozmaite korrespondencje do niektórych pism czasowych; biedni i oni pokutowali równo ze mną, tylko że ich pokuta była stokroć łatwiejszą, bo im pozwolono kłamać, a im głośniéj i czelniéj który truteń kłamał, tém bardziéj zbliżał czas swego wyzwolenia.— A ja niestety! za prawdą i za łzą goniłem... śmieli się też ze mnie i srodze żartowali przyjaciele; skorom wracał z jakiéj wędrówki z głośnym okrzykiem pytali, »a co szanowna Mucho zdobyłeś drogo-cenną łzę?

Tą razą byłem serdeczniéj witany jak kiedykolwiek; po dziesięciu latach niebytności, wrzask był ogromny, zarzucono mię pytaniami,—a kiedym wszystko opowiedział, zapytałem z kolei:—A u was tu co słychać?

—U nas mnóstwo ciekawości się dowiesz! my wszystko wiemy co gdzie się dzieje, może chcesz wiedzieć cóś o twoich znajomych?

—Bardzo dobrze, będę słuchał, ale dajcie cóś przekąsić, bo jestem zdrożony i głodny. Trutnie zaczęli wszędzie szukać miodu, a nieznalazłszy go wcale, dali mi do smoktania próżne komórki woskowe;— i tak się posilając pożywnie, pokarmem trutniów, słuchałem ich opowiadań.

—Zaczynamy więc od Dosi, mówili moi przyjaciele,—panna Dorota poszła za mąż.

—Za doktora? czy za urzędnika? spytałem?

—Paradnyś! zawołali koledzy, jakby ona miała kiedy projekt być doktorową lub panią sekretarzową? Te dwie figury służyły jéj tylko za dyplomatyczną samołówkę, w którą wpadł pan marszałek.

—A więc dosięgła swego ideału, została marszałkową?

—I jakąż jeszcze marszałkową! z całą wspaniałością i powagą. Pan marszałek skończył już sześćdziesiątą wiosnę, i zapisał małżonce dwie wsi w podarunku.

—Mądra! lubię ją za to, zawołałem.

—A druga jeszcze mędrsza, zakrzyknęli trutnie.

—Nie mówcie mi o niéj przerwałem, wiem, i zgaduję koniec téj przeniewierczéj istoty. Musiały ją zgryzoty sumienia zapędzić w mury klasztoru, i tam...

—Odprawia pokutę... dokończyli narratorowie. Coraz lepiéj umiesz zgadywać, panna Kocia zrobiła nader świetną karjerę, jest dziś powszechnie wielbioną i szanowaną.

— Cóż tak nadzwyczajnego, rzekłem z ironją, że została żoną jakiegoś głupca, pijaka huzara?

—Dałbyś sobie pokój z swemi domysłami, nie przerywaj, tylko słuchaj i buduj się jéj mądrością.... Otoż panna Kocia pokłóciła się o cóś z huzarem i ten ją porzucił, z desperacji więc, została... aktorką.

— Ale tegom się spodziewał! zawołałem z radością.

— Nie bądź nudny ze swoją głupią zazdrością i zemstą, bo to arcy-śmiesznie z twojéj strony.

Umilkłem, a oni tak ciągnęli daléj.

— Pamiętasz zapewne, że Kocia miała zawsze usposobienia excentryczne, postawę wspaniałą, głos melodyjny, a oczy jak dwie zapalone świece, to wszystko razem robiło ją znakomitą artystką dramatyczną, jakoż wyjechawszy do Wiednia,zrobiła tam wielkie furore między niemcami, wszystkie dzienniki o niéj tylko pisały, a jeden prinz niemiecki do takiego stopnia posunął swój entuzjazm, że na klęczkach błagał córę Melpomeny, aby go przyjęła za dożywotniego sługę wraz z sercem, tytułem i majątkiem.

—I ona dziś księżną?

—Jaśnie oświeconą, i policzoną do pierwszych gwiazd między plejadą germańskich piękności; i cóż nie mądra z najmędrszych? zapytali chorem trutnie.

—Vivat niech żyje księżna Kocia!

A ja zamyśliłem się znowu, nad wieczném mojém pytaniem.

Dla czego wdzięki ciała, najczęściéj są rękojmią szczęścia kobiety? a szpetota poniewiera się i oddala ludzi od siebie?

Dla czego kobiéta próżna i bezduszna najczęściéj bywa oblubienicą fortuny?

Dla czego Magdalena na bruku, upadła z nędzy i braku zasad religijno-moralnych, jest celem ogólnéj wzgardy; a Magdalena w salonie, otoczona złotem, oblana wonnościami, zdobywa nasze serca i po chrześcijańsku wołamy: „rzuć kamień, kto bez grzechu?“

Dla czego cnota, zależna jedynie od trafu, a prawda od okoliczności, noszą swobodnie imie nieskazitelne, a upadek sprawiedliwego ze stroméj skały, lub rozpaczliwe przekroczenie granicy prawa, pod klątwą banicji zostają?

Dla czego „vox populi, vox Dei“ jest popularném przysłowiem od wieków, i nikt mu nie śmie zaprzeczyć? a tymczasem, to co uświęcił naród jest całkiem obojętne dla Boga, i zdziwiony na sądzie ostatecznym zapyta: „Ktoż wam powiedział, że to moje zdanie?“

W téj chwili przypomniałem trzecią siostrę, i zapytałem towarzyszów. A z Locią cóż się stało?

—Locia! biedna Locia! ta nie umiała zrobić karjery, zawiele miała serca, a zamało ją uczono arytmetyki.

—Ona, zawołałem, ten zimny posąg marmurowy, za wiele miał serca, ej bredzicie moi panowie.

—Ba! u ciebie ten ma serce, co je nosi na talerzu i każdego przechodnia traktuje niém i raczy, w kształcie westchnień i ckliwych deklamacji.—Locia takiego serca niemiała, ale ta dziewczyna cała zamknęła się w jedno uczucie i żyła tém uczuciem i umrze ofiarą tego uczucia.

—Ale jakże to było, nic pojąć nie mogę.

(Dalszy ciąg nastąpi).

WIADOMOŚCI ZAGRANICZNE.

POGLĄD OGÓLNY.

Wiek nasz bogaty jest w protestacje. Niedawno jeden z dzienników naliczył dwunastu pretendentów do większych i mniejszych tronów. Największą ich ilość dostarczają potomkowie Henryka IV, który i sam był kiedyś pretendentem, lecz dobiwszy się korony, oparł jéj trwałość na miłości ludu; i choć padł pod nożem fanatyzmu, małoletni syn jego spokojnie odziedziczył ojcowskie państwo. Owoż każdy z pretendentów wystąpił przed światem z protestacją; długi ich szereg w bieżącym tylko roku zamyka protestacja posła Neapolitańskiego, przy dworze turyńskim, barona Vinspeare. Wiadomo, że gdy powstanie w królestwie obojga Sycylji poczęło przybierać olbrzymie rozmiary, król Franciszek II, który dotąd wszystkie przełożenia Wiktora Emmanuela spólnych działań, na rzecz niepodległości włoskiéj, ze wzgardą odrzucał, wyprawił pełnomocników do Turynu dla zawarcia z Piemontem przymierza. Żądania atoli dworu neapolitańskiego były do przyjęcia niepodobne. Czyniąc im zadość, król Wiktor Emmanuel powinien był zostać wrogiem włoskiego ludu, wyprawić wojsko do Sycylji, nie tylko dla wypędzenia z wyspy Garibaldiego i jego ochotników, ale raz na zawsze zapowiedzieć Włochom, że myśl o jednolitéj ojczyźnie jest zbrodniczém marzeniem. Wprawdzie pełnomocnicy neapolitańscy przyrzekali zbrojne spółdziałanie do wyrugowania Austryjaków z Wenecji; ale dwór Sardyński znał lepiéj, niż ktokolwiek, jaką wiarę przywiązywać można do obietnic, a nawet przysiąg, neapolitańskich Burbonów. Świat widział ze zgrozą konstytucyjnych ministrów Ferdynanda II, zakutych w kajdany i pracujących w rzędzie zwyczajnych zbrodniarzów w porcie téj stolicy, w któréj szanowano w nich dawniéj radzców i przedstawicieli korony. A więc hr. Cavour niemógł nieoględnie zawierać przymierza, niedającego najmniejszéj rękojmi trwałości. Żądał, aby zwołany parlament królestwa Obojga Sycylji, ustalił pierwiéj rząd narodowy, zapewnił, że Camarilla nazawsze bezsilną zostanie i że wieczny rozbrat z Austrją nastąpi. Wiadomo, jakie było postępowanie Franciszka II, jak zmarnował 3 miesiące najdroższego czasu, wśród ustawicznego wahania się między radami swych ministrów, a podszeptami zwykłych ulubieńców, jak nakoniec przed zwycięzkim postępem Garibaldiego ukrył się w murach twierdzy, gdzie dotąd jeszcze marzy o odzyskaniu pełności swéj władzy. Tymczasem niewstrzymany bieg zadrzeń rozbudził w sercach Neapolitanów tak potężne pragnienie jedności, że nawet cudowna wziętość Garibaldiego, odmawiającego jéj przyśpieszenia, zachwiała się na chwilę i groziła nowym przykładem ludowéj niewdzięczności. Już Mazzinizm groził rozprzężeniem społeczném w całych Włoszech południowych; już stugłowa hydra rewolucji miała zionąć płomieniem ogólnego pożaru, gdy Wiktor-Emmanuel pośpieszył ku ich ocaleniu. Skoro na radzie gabinetu turyńskiego stanęło, iż dłużéj zwlekać było niepodobna, że zbrojne zastępy piemonckie do Sycylji i Neapolu wprowadzić należało, hr. Cavour uwiadomił barona Vinspeare o tém postanowieniu i, między innemi, wyraził, że Franciszek II, opuszczając stolicę, zrzekł się rządów kraju i nominalnie tylko nazwę królewską zatrzymał; że, dla odwrócenia największych nieszczęść, wojska piemonckie wprowadzonemi na ląd stały neapolitański zostaną. Poseł Franciszka II, widząc urzędowanie swoje skończoném, odpowiedział prezesowi rady protestacją, któréj dziś, dla braku miejsca, umieścić w Kurjerze nie możemy, ale którą czytelnicy znajdą we wtorkowym numerze naszego czasopisma. Całe rozumowanie barona Vinspeare opiera się na tém, że wojska piemonckie wkraczają do Włoch południowych bez poprzedniego wypowiedzenia wojny. Lecz Wiktor-Emmanuel nie miał i nie ma zamiaru wojny z Włochami toczyć; jeżeli wojska swoje wprowadził, to jedynie dla tego, aby wichrzyciele rewolucyjni w odmęt bezrządu téj najpiękniejszéj połowy ziemi włoskiéj nie wtrącili, aby niemieccy najemnicy krwi włoskiéj nie przelewali i aby nakoniec lud bez przymusu mógł wolę swoją, przykładem Włoch środkowych, objawić. Dla skrócenia zatém bratobójczéj wojny, siły piemonckie w granice neapolitańskie weszły, aby ich obecność dała możność pułkom Włoskim, przy Franciszku II, jeszcze będącym, przejścia pod narodowe chorągwie. Już jeńcy w bitwach, na początku bież. miesiąca stoczonych, przez Garibaldiego wzięci i do Genui sprowadzeni, najochotniéj wchodzą w szeregi piemonckich spółbraci. Przykład ten nie zostanie bez naśladowania i spodziewać się godzi, że wkrótce całe pułki włoskie Franciszka II, pod trójkolorową chorągiew przejdą. Im to prędzéj nastąpi, tem prędzéj spokojność i porządek w tym kraju, tak długo przed tém ciemiężonym, a dziś burzą politycznych namiętności miotanym, choć raz przecie zakwitnie.

Bieg wypadków na chwilę się wstrzymał; żadne z niskąd wiadomości nic nowego nie zwiastują; ale blizka przyszłość będzie w nie bogatą, bo głosowanie neapolitańskiéj i sycylijskiej ludności, przyśpieszy koniec wewnętrznych zawikłań, a zjazd Warszawski rozjaśni zaciągnięty chmurami widnokrąg.

WŁOCHY.

PIEMONT. Turyn, *9 października.* Dzisiejsze posiedzenie pod prezydencją p. Lanza, zostało otwarte o kwadrans na drugą. P. Sineo kończy głos wczoraj rozpoczęty; utrzymuje, że należy mówić o zasadach nie o ludziach; wszakże są zdarzenia, w których niepodobna uniknąć pytań osobowych. Zgadzam się w téj mierze z ministrami, że żaden, choćby najznakomitszy obywatel, nie może wolą swoją górować nad wielkiemi władzami kraju, izba więc powinna dać wyrok, o który dopomina się gabinet, ale w tém zaprzeczam ministrom, aby jenerał Garibaldi miał kiedykolwiek występować z przeciwnemi prawu żądaniami i narzucać swoją wolę. Upoważniony jestem do mówienia w imieniu Garibaldiego, który słów swoich nie odwoła. Skoro powodzenie uwieńczyło jego przedsięwzięcie, wyprawiono wysłańców do Sycylji, aby przyśpieszyć połączenie. Ministrowie uznali, iż dopóki Marchje dzieliły nas od królestwa, należało je odroczyć. Te okoliczności musiały przeświadczyć Garibaldiego, że nie mógł kierować sprawami powszechnemi ręka w rękę z obecném ministerstwem; późniéj pisano listy, o których w swoim czasie dużo mówiono.

Hr. Cavour. Winienem oznajmić, że wspomniane listy nigdy nie istniały.

P. Sineo. Wolno było Garibaldiemu sądzić, iż niemógł działać łącznie z ministrami; wszak i hr. Cavour odmówił wszelkiego uczęstnictwa w rządzie pod ministerstwem p. Ratazzi; wówczas tylko można dopomagać ministrowi, kiedy w polityce zachodzi z nim zgodność przekonań, a jakiekolwiek były pobudki, wstrzymujące Garibaldiego od przyjęcia zależności względem obecnego ministerstwa, należy te pobudki szanować. W wielkich pytaniach, będących przedmiotem miłości kraju, dyktator o osobach zapomni. Po dokonaniu połączenia, jeżeli ministerstwo nie odpowie oczekiwaniom Garibaldiego, usunie się on na wyspę Kaprea. We Włoszech jeden jest tylko człowiek, bez którego obejść się nie podobna: jest nim Wiktor Emmanuel. Co do mnie, nie znajduję, aby Garibaldi, lub ktokolwiekbądź, był nieuchronnym. W kraju, złożonym z 22 mil. ludzi, obfitym w najświetniejsze zdolności, nikt nie jest nieuchronnym.

P. Mellana ma głos przeciw projektowi. Obowiązkiem męża stanu jest mówić prawdę, choćby z uszczerbkiem popularności. Hr. Cavour dał tego dowód, kiedy z narażeniem się na największą niepopularność ustąpił prowincję włoską. Chcę naśladować ten przykład i z zupełném umiarkowaniem, myśl moją wypowiem. Jeżeli ministrowie są pewnymi wszystkich następstw, uchylam głowę przed ich postępowaniem. Jesteśmy wszyscy Włochami i zwolennikami jedności, wyjąwszy p. Ferrari i jeżeli dostojny dziejopis zejdzie z wysokości swych pomysłów i zniży się do rzeczywistości, uzna, że mamy słuszność; ale ministrowie chcą zasilić się naszem spółdziałaniem. Sycylja i Neapol są wolne, ale król neapolitański jest w Gaecie, otoczony dyplomacją, a jego poseł dotąd zostaje w Turynie. Czyż to jest czas właściwy do zaprowadzenia rządu prawidłowego na miejscu dyktatury? Rząd prawidłowy musi ulegać warunkom, nierozdzielnym od jego istoty. Czyż ministrowie mogą nas zaręczyć, że nie zdarzy się żadna z tych niedogodności, któréj się lękamy? Przeciwnie, w dyktaturze mieszczą się wszelkie władze i wszelkie prawa. Dla tego też pamięć dyktatora, którytby kraj naraził, byłaby przeklętą. Ktoby mógł pomyśleć, że jen. Garibaldi miał zamiar uderzyć na Francuzów w Rzymie? Garibaldi przedstawia rewolucję, winien jest otwarcie tłumaczyć swe myśli, ale nikt nie wierzył, aby Garibaldi mógł dopuścić się podobnego szaleństwa. Gdyby siły rewolucyjne wkroczyły do Marchji, równie szanowałyby miejscowości, zajęte przez Francuzów, jak to uczyniło wojsko rządowe. Jeśliby, po zaszłém nieporozumieniu, ministrowie ustąpili, kraj niezawodnie głębokoby to uczuł; ale na tém właśnie polega siła rządu konstytucyjnego, że nie ma w nim ministrów nieuchronnych. Świat przyklasnąłby usunieniu się gabinetu. Hr. Cavour jest dziś potężnym, wówczas byłby wielkim. Dziś cała Europa jest przekonaną, że Włochy powinny istnieć. Woli ona, abyśmy swego dopięli, raczéj na drodze rewolucji, niż na drodze dyplomacji; bo Europę najwięcéj zastrasza widzieć w ścisłym związku 25 miljon. Włochów, z mocarstwem, rządzącém 40 miljonami ludzi. Przyłączyliście Toskanję bez trudności, lecz dyplomacja powstała w tym samym dniu, w którym zapłaciliście dług swój Francji ustępstwem prowincji. Zabiło mi z radości serce na odgłos zwycięztw pod Ankoną i Castelfidardo; ale gdyby władza była w mym ręku, zgromadziłbym wszystkie siły nad Padem i dozwoliłbym rewolucji dokonać swego dzieła, Europa zaś uznałaby czyn spełniony.

P. Armelonghi mówi za projektem. Zastanówmy się nad postępowaniem naszém od dnia, w którym hr. Cavour przemówił za naszemi prawami na kongressie paryzkim. Przebieżmy myślą odbytą drogę. *Wszystko, albo nic,* jest hasłem pewnéj szkoły; ale nie może być hasłem rozumu. Mając wzrok wytężony na cel, należy korzystać z każdego zdarzenia. Władza świecka papieża była poczytywaną za najzawilsze zadanie polityczne i wielu sądziło, że jest niepodobném do rozwiązania. W ogólnym ruchu Włoch środkowych, wzięliśmy Romanję; następnie ujrzeliśmy możność wyzwolenia Marchji i Umbrji, Papieżowi zaś zostało tylko same miasto. Wszystko spełniło się stopniowo i dziś władza świecka papieża jest ciałem bez głowy. Pytał nas p. Ferrari, jaką drogą przyjdziemy do ostatecznego rozwiązania. Nic jeszcze nie wiemy; ale wśród Włoch wolnych, Rzym niewolniczy trwać nie zdoła. Rzym jest konieczną stolicą Włoch, bez Rzymu nie ma jedności. Swietna wyprawa w Marchjach ma ogromną wagę, przygotowała ona przyszłość. Co do Wenecji, pytanie to zależy od czasu. Gdyby przymierze austro-rossyjskie skojarzyło się przed wyprawą Garibaldiego, mogłoby, bez dobycia oręża, wstrzymać nasz ruch włoski; ale Austrja nie chce poświęcić swojéj wschodniéj polityki dla włoskiéj.

Mówca kończąc mówi, że domyśla się zamiarów Garibaldiego. Rząd królewski jest krępowany obowiązkami względem dyplomacji; nie może wystąpić przeciw Austrji, jak Garibaldi, którego nic nie wiąże i który pragnie toczyć wojnę na własną odpowiedzialność, zastrzegając tylko sobie wolność złożenia, po zwycięztwie, miecza u stóp królewskich. Zapewne Garibaldi błądzi, sądząc, że może toczyć wojnę z Austrją bez wciągnienia w nią narodu. Ale jest to błąd wielkiéj duszy. Wciągnąłby on naród w wojnę niewczesną, a może zgubną. Włochy nie walczą o chwałę, ale o stworzenie ojczyzny. Rząd uczynił dla niepodległości włoskiéj wszystko, co było możliwem; on to nadał ruch, skutkiem którego mogło udać się i same przedsięwzięcie Garibaldiego. Nie waham się głosować za projektem i wyrzec, że rząd królewski i Garibaldi dobrze zasłużyli się ojczyźnie (oklask).

M. Chiaves, ma głos za projektem. Nie chodzi o poświęcenie Cavoura Garibaldiemu, lub Garibaldiego Cavourowi. Każdy przyzna, że połączenie jest stanem normalnym każdego wyzwolonego kraju. Stan obecny jest anormalny, tymczasowy. Czyż rozumianoby, że ten stan da się wynagrodzić przez bezpieczeństwo, wolność, pomyślność? Pod tym względem wypadki są wiadome; wynagrodzenie nie istnieje. Bezpieczeństwo Włoch opiera się na królestwie. Jego tylko wojsko bije się przeciw cudzoziemcom pod Palestrą, San-Martino i Ankoną. Cóż mówić o wolności w kraju, gdzie codzień zmieniają się prodyktatorowie a co tydzień gabinety i gdzie zaszły wiadome wam czynności? Co do dobrego bytu, lepiéj o nim zamilczeć. Co do Rzymu, zapytam was, czy rugując Papieża z Rzymu sądzicie, że już pytanie papiestwa będzie rozwiązane? Wolę nieprzyjaciela naszego mieć we Włoszech, niż gdzie indziéj. Kiedy Papież wróci na drogę właściwszych uczuć, Włochy znajdą, w posiadaniu go na swém łonie, ogromny żywioł siły. Gdyby Papież stanął obok króla włoskiego, czyż nie sądzicie że Włochy zyskałyby na wielkości? (oklaski z przerwami). Co do Wenecji, skoro zostaniemy 22 miljonowym narodem, skończy się na tém, że mieć ją będziemy. Wenecja nam przybędzie, skoro staniemy się państwem mocném, a mając 11 miljonow więcéj, będziemy jeszcze mocniejszymi. Należy zbadać prawdziwe przyczyny, zawieszające pytanie, któregoby nawet roztrząsać nie należało. Pierwsza jest w naszém rozdwojeniu. Między niechcącymi jedności Włoch, znajdują się ludzie dobréj i złéj wiary. Są tacy, którzy wierzą, że jedność wyradza ich ojczyznę i stanie się dla nich jakby wygnaniem. Tych sama rzeczywistość z błędu wyprowadzi. Daléj są ludzie, którzy walczyli z tyranami, cierpieli tułactwo, więzienie, nędzę. Ale za nimi były istoty pasożytne. Ci są wichrzycielami politycznymi z rzemiosła. Ci wydają siebie za męczenników i zwodzą niekiedy uczciwych ludzi. Skoro więc Włochy ustalą się, ci ludzie stracą wnet swój przemysł i dopóki pozostanie choć jedna piędź ziemi nieurządzona, ci ludzie chcieliby ją zachować w swéj władzy; jest to dla nich zadanie chleba powszedniego. Ci ludzie dopominają się prawa do pracy; mówię tu o wykonywających rzemiosło politycznych wichrzycieli. Dajmy, że ci ludzie złożyli jakie przysługi; ale i Austrja i Papież także je złożyli. Gdyby Austrja nie ciemiężyła, a Papież dobrze rządził, nie stworzonoby Włoch. Co do warunków, które chcianoby przywiązać do połączenia, nie pojmuję ich wcale. Czyż Piemont kładł jakie warunki i kiedy narażał swe istnienie, walcząc sam jeden z Austrją? Kiedy Piemont sam jeden podniosł swój proporzec przeciw Austrji, gdy cierpiał groźby, najazd, wszystko, czyż kładł warunki? Jedno tylko zastrzegł, aby żadna sekta nie wdzierała się obok niego do objęcia ruchu włoskiego. Piemont chciał Włoch zjednoczonych, wolnych, silnych. Sekty republikanckie utworzyćby ich nie mogły. Kiedy Garibaldi przywdział muudur Włoch i króla, zabiegano, czy nie uda się doprowadzić tego wielkiego męża włoskiego do zdradzenia chorągwi, usiłowano doprowadzić go do tego, aby zadał kłamstwo okrzykowi, przy którym gronił Austrjaków: *Włochy i Wiktor-Emmanuel!* Ci ludzie winni zdać liczbę z ciężkiéj zbrodni przeciw ojczyznie. Zapomnieli, że jest lud jęczący, który woła na nas: Wytrwajcie w jedności, a będziecie silnymi i skruszycie nasze kajdany! Jeszcze słowo o żądaniu uchwały zaufania. P. Ferrari mówił wczoraj, że nie zgadza się na nią, bo hr. Cavour nie jest dawnym rewolucjonistą. Dla mnie o jedno chodzi, czy hr. Cavour jest na wysokości położenia. Nie podobają mi się ludzie niezbędni. Ale czyż mamy wielu ludzi mających tyle rękojmi, co hr. Cavour. Braknie nam czasu do doświadczeń: nie wspomnę ani o wyprawie krymskiéj, ani o kongresie paryzkim, ani o przymierzu z Francją, któremu winni jesteśmy, że dziś przedstawiamy Włochy. Powiedzą nam, że to jest skutkiem zbiegu okoliczności, ale choćby i tak było, hr. Cavour wycisnął na nich swe imię. Spór toczy się między monarchją konsystucyjną i rzeczą pospolitą. Co do mnie, chcę mieć Włochy i monarchję, a ministrowie to właśnie przedstawiają. Wspomniano o nowych ustępstwach krajów na rzecz cesarza Francuzów, jest to grzech hr. Cavour. Wszyscy wiedzą z jaką boleścią głosowałem na ustępstwo Nizzy; ale ustępstwo Nizzy czyni już wszelkie inne ustępstwo dla hr. Cavour niepodobném. Pierwsze było czynem konieczności, drugie byłoby czynem hańby. Jestem spokojny; ustępstwo Nizzy jest rękojmią.

P, Bertani. Nie chciałem zabierać głosu; czynię to jedynie dla sprostowania zdarzeń, dziwnie skażonych, ale odkładam osobistą obronę do spokojniejszych czasów. Jednego pragniemy: wolności, Włoch zjednoczonych i Wiktora-Emmanuela za króla. Wierny jestem wykonanéj przysiędze. Nie jestem ani spiskowym, ani trwonicielem miljonów. Po krótkim czasie wytchnienia, zdam liczbę z miljonów, które przeszły przez moje ręce i z ich użytku. W dniu, w którym przemówiłem w sprawie Sycylji, uczyniłem wyznanie wiary. Chcę rewolucji dla wolności i jedności Włoch. Rewolucja zwyciężyła. Garibaldi dosiągł celu swych usiłowań. Nie chciał bezpośredniego połączenia; odpowiedział parlamentarzom: chcę jeszcze walczyć, chcę wyzwolić ląd neapolitański. 9 miljonów ludzi ufa Garibaldiemu. Nie chciał połączenia, ponieważ chciał mieć rękojmię dla dokonania swego programmatu. Dusza jego wzruszoną była na widok wojsk królewskich, wstępujących do państwa kościelnego. Wiem, że Garibaldi będzie zawsze szlachetnym i nie wątpię że hr. Cavour takimże być nie przestanie. Pójdźmy za radą pana Mellana. Zaniechajmy tego sporu. Niech hr. Cavour uda się do Neapolu i poda rękę Garibaldiemu. Będzie to przymierze rewolucji z monarchją, i wojska z ochotnikami. Dwa imiona splotą się w sercu Włoch: Garibaldi i Wiktor-Emmanuel! Ja zaś spełnię posłannictwo na mnie włożone.

Posiedzenie zamknięto o pół do 8-méj.

Na posiedzeniu 10 października pierwszy głos zabrał *p. Minghetti* i oświadczył. Komissja dała przykład unikania pytań. Słuchałem p. Ferrari z uwagą, jaka się słowem jego należy; ale wychodzimy ze stanowisk wprost sobie przeciwnych. Rozumie on, że Włochy są pełne Viscontich i Sforzów, Gwelfów i Gibelinów, i wylicza szereg przeszkód, niedopuszczających jedności. Ale wszystkie miasta, wszystkie prowincje gotowe są złożyć swą samoistność na ołtarzu ojczyzny. Nie jest to zapał uniesienia, ale przekonanie zimne i wyrozumowane. Nie chcemy narzucać się ludności neapolitańskiéj i sycylijskiéj, lecz chemy, aby podzieliła z nami naszą wolność. Od początku wojny, Włochy pałały żądzą zlania się w jedność. Gdyby podziały graniczne miały choć najmniejsze znaczenie, wyprawa na Marchję nie dałaby się usprawiedliwić; Garibaldi zaś nie byłby bohaterem ale najezdnikiem. Prawo żąda upoważnienia do przyjęcia dobrowolnych połączeń; pod tym względem odmówić uchwalenia jego niepodobna. Lecz toż prawo obejmuje uchwałę zaufania; a ponieważ jest naglące, ponieważ mam ufność w ministrach, głosuję za niém. Pojmuję zapał obudzony przez Garibaldiego, ale sam musiał przeświadczyć się pod Volturno, jak niezbędna jest mu pomoc wojska rządowego. Nie rozumiem, jak można było utworzyć programmat polityczny z kilku słów Garibaldiego, wyrzeczonych w zapale uniesienia. Rząd konstytucyjny, prawidłowy ostać się nie zdoła obok rewolucji. Już to samo jest wielkiém niebespieczeństwem, ale bądźmy otwartszymi. Europa oddawna przywykła wdawać się w rozgraniczania posiadłości. Sama Francja odzywała się do nas z surowemi radami; rząd jéj musi liczyć się z mniemaniem powszechném. Anglja chce przedewszystkiém uniknąć kłopotów; mocarstwa północne nie mogą obojętnie spoglądać na wprowadzenie nowego prawa, nakoniec Austrja, pasując się ze swą skarbowością, nienawistnie nad każdym krokiem naszym czuwa. Gdy nadarzają się nam zręczności, z których korzystać możemy, nie dajmy im wymykać się. Zachodzi drugie jeszcze niebespieczeństwo: t. j. zebranie się w Neapolu przedstawicieli demokracji; to zebranie musi trwożyć Europę. To stronnictwo głosi zasadę wszechmocności kraju, zniweczenia indywidualności i rodzaj kosmopolityzmu. Nie są to wcale zasady nowoczesnego liberalizmu, szanującego wszystkie prawa; lecz programmat demokratyczny przeraża jeszcze Europę pamiętną 1848 roku. Francja rzuciła się w ręce cesarstwa, by uniknąć tego stronnictwa, Włochy zaś boleją, że jego winą zmarniał ruch 1848. Nie zapominajmy o tém. Co do ministrów, cieszą się oni ufnością kraju; zawdzięczają tę ufność postępowaniu swojemu w środkowych Włoszech. Europa podziwiała zachowanie się tych prowincji, w ciągu całego niemal roku niepewności. Gdyby stronnictwo, któremu nieudało się zawichrzyć porządku, stanęło tylko przez trzy miesiące, u steru władzy, sprawa książąt i papieża byłaby dziś wygraną. Jedność Włoch będzie czynem dokonanym. Staniemy przed Europą, jak odnowiciele porządku, Europa nie opóźni udzielenia nam swéj sankcji. Włochy zrozumiały słowa Napoleona III, że szczęście zsyła ludom zręczności, którym nie powinny dać się wymykać. Obecność króla w Neapolu da poznać wolę ludu i położy koniec wszystkim rozterkom (oklaski).

P. Regnoli mówi następnie: Nie idzie o rozstrzygnienie sporu między monarchją i rzecząpospolitą; wszyscy bowiem demokraci, z kilku zaledwie wyjątkami, uznali Wiktora-Emmanuela za głowę narodu.

Mówca zastanawia się nad władzą świecką papieża, mogącą być uważaną pod trzema względami: religijnym, cywilnym i włoskim. Władza papieska była zawsze zgubną dla niepodległości włoskiéj, bo zawsze ściągała cudzoziemców ku swéj pomocy: Francuzów, Hiszpanów, Niemców, stosownie do okoliczności. Chcianoby ograniczyć papieża Rzymem i jego obwodem, a w ten sposób pozbawić Włochy ich stolicy. To miasto jest zajęte przez Francję, ale można jéj przełożyć, że uczucie włoskie spotęgowało się do tego stopnia, że to zajęcie nie może przeciągać się bez niebespieczeństwa.

Po krótkich przemówieniach między pp. Sineo i Chiaves, z których ostatni trafnie nazwał maz-

zinistów *jezuitami czerwonymi* zabrał głos *p. Carutti:*

„Nie sądziłem, aby *prawo połączeń* miało stać się przedmiotem rozpraw; jakoż zarzuty nie wypłynęły z saméj treści zadania, ale ze względów pobocznych. Lecz kraj nie potrzebuje wymowy namiętności, potrzebna mu jedność woli. Jeżeli zbijaliśmy mowę p. Ferrari, nie uczyniliśmy tego bynajmniéj przez wzgląd na przewagę jego zdolności; ale ponieważ jest przedstawicielem systematu. Zgłębił on podania włoskie i wniósł, że jedność jest niemożliwą; byłaby bowiem negacją dziejów. Zdanie 25 miljonów Włochów nie wystarcza do wyprowadzenia go z błędu. Lecz zgodźcie się przynajmniéj, wy, stronnicy wyobrażeń nowoczesnych, rewolucyjnych, że wskrzeszacie najgorszą z tyranji, tyranję przeszłości. Ale gdzież znajdziecie federację włoską? Co do mnie, nie widzę jéj w żadnéj epoce dziejów. Znajduję najopłakańsze niezgody, ale nie federację. W tém co nazywacie federacją, znajduję źrzódło cudzoziemskiego panowania. Trudności nasze są ciężkie; spółzawodnictwo miast i prowincji może być jedną z trudności, ale nie należy ich ani przesadzać, ani zajątrzać. Nie mówcie, że Piemont chce wysadzić się nad Włochami, wiecie że to nie prawda. Jedność włoska już stanęła. Włochy oddziaływają przeciw pojedyńczym udzielnościom. Przystępujemy do wielkiego doświadczenia polityki, nazywanéj przez was piemoncką, a którą ja nazwę polityką rozumu. Winniśmy wytrwać w téj polityce, winniśmy ją określić, nie zaś odstręczać spółczucie, jakie nas dotąd wspierało. Bronią naszych nieprzyjaciół jest przypisywanie nam zmowy z rewolucją. Należy zmyć z nas to oskarżenie. Zasadą naszą jest, aby Włochy należały do Włochów. Stosunki między krajami włoskiemi nie mogą odbywać się pod powagą zwyczajnych praw między-narodowych, bo ludy tych krajów są członkami jednéj rodziny. Polityka rządu jest narodową, a *nieinterwencja,* któréj domagamy się, jest tylko uznaniem naszego prawa.

P. Lafarina, w zabranym głosie skreśla smutny, ale prawdziwy obraz tego, co się dziś w Sycylji dzieje i zaklina izbę, aby głosując za prawem i uchwałą zaufania, dała ministrom w ręce środki naprawy złego. Kończy zaś głos w następnych słowach: Przemilczę to, co przeciw mnie mówiono. Czemże są nasze drobne osobistości w obec Włoch. Za nadto długo cierpieliśmy w sprawie narodowéj, aby pamiętać błahe urazy; ale pamiętajmy o cierpieniach ochotników. O! gdyby wam wiadome były wszystkie ich cierpienia! (Oklaski)

Hr. Cavour. Nie miałem zamiaru mówienia, ale ponieważ pytanie osobowe uchylono, pragnę słów kilka powiedzieć; chciałem jednak mówić, wysłuchawszy dowodzeń oppozycji. Jeśli nikt nie ma nic do powiedzenia, będę mówił, w przeciwnym razie, chcę prosić o odkład rozpraw do jutra, aby każdy mógł się wytłumaczyć. Wzywam więc wszystkich mowców.

P. Depretis chce przełożyć izbie niektóre szczegóły, tyczące się Sycylji; *p. Ferrari* oświadcza, iż widzi potrzebę mówienia, a szczególniéj wysłuchania dostojnych Neapolitanów, znajdujących się w izbie; żąda więc odłożenia na dzień jutrzejszy i pierwszy chce głos zabrać.

Wielu deputowanych wstaje ze swoich miejsc, prezydent im to wymawia; nakoniec o trzy kwadranse na 6tą posiedzenie zamyka.

Na posiedzeniu d. 11, zabierali głosy pp. *Scialoja* i *Depretis,* do których dało powód wczorajsze wystąpienie p. Lafarina. Dawniejszy prodyktator sycylijski i niedawny minister neapolitański, pod Garibaldim, mówili o dyktatorze z uwielbieniem; usprawiedliwiając go z zarzutów wtrącenia Sycylji w nieład. Szczególnie p. Depretis mówił z wielkiem uczuciem: „Kiedy pierwszy raz przybyłem do Sycylji, kraj ten zrobił na mnie wrażenie raju, rządzonego przez szatanów; oczy moje widziały ludzi, noszących piętna rozpalonego żelaza, na swém ciele, za wykroczenia polityczne. Żal przeciw rządowi Burbonów był tak nieubłagany, że skoro powstanie wybuchnęło, ani jeden żandarm nie został w życiu. Nadto, Sycylja przepełniona było zbrodniarzami; rząd neapolitański, wszystkich galerników, po upływie lat kary, rzucał na tę nieszczęśliwą wyspę, zarażając i trwożąc tym stekiem społecznym nieszczęśliwych mieszkańców.“

Po ułatwieniu szczegółów tyczących się Sycylji, p. Ferrari, raz jeszcze, wrócił do swego przedmiotu, starał się przekonywać izbę o wielkich błogosławieństwach, jakie z federacji spłynąć miały na Włochy. Po ukończeniu jego głosu, hr. Cavour wstąpił na mównicę: Świeże rozprawy najlepiéj przekonywają, ile mieliśmy powodów do zwołania parlamentu. Te rozprawy rozproszyły wiele obaw i podejrzeń. Prócz jednego świetnego wyjątku, wszyscy zgadzają się na potrzebę wezwania całego ludu Włoch południowych do głosowania. Oddaję tę sprawiedliwość naszym zwyczajnym przeciwnikom. Całe więc zadanie ogranicza się żądaną przez nas uchwałą zaufania, i trybem, jakim chcemy dokonać połączenia. Zarzucają nam, że pragniemy pójść odmienną drogą w Neapolu, od téj, jakiéj trzymaliśmy się w Toskanji i Emilji; wszakże jeżeli owe prowincje nie zostały natychmiast połączone, nie pochodziło to z winy rządu; mówię równie za naszymi poprzednikami, jak za dzisiejszym gabinetem. Niepodobieństwem było przyjąć połączenia wnet po *Villafranca.* Odpowiedź, dana pierwszéj deputacji, była już krokiem śmiałym. Również nie można było przyjąć połączeń nazajutrz po zawarciu traktatu w Zurich. Wszystkie państwa zgodziły się na kongres i na zasadę *niewdawania się,* wniesioną przez dwa wielkie mocarstwa. Trudno więc było przyśpieszać połączenia. Skoro myśl kongresu upadła, miano mię wysłać do Paryża i Londynu, aby przyśpieszyć połączenia. W tém zaszło przesilenie gabinetu, któremu polityka zewnętrzna była zupełnie obcą, bo jéj źrzódło znalazło się w przyczynach wewnętrznych, jakich pamięć chciałbym wymazać z dziejów owego roku. Po uchwale prowincji zebraliśmy ich wyborców, przekraczając nawet, w téj mierze, służącą nam władzę. Nie będę wahał się jéj przekroczyć, skoro przyjdzie do połączenia Neapolu. Przeszkody, stające na zawadzie połączeniu Neapolu różne są od tych, które miały miejsce w Toskanji; możemy postępować prawie. Podczas głosowania ludności przedstawiciele dawnych prowincji, podobnież ze swéj strony głosować będą. Nie sankcjonujecie zawartego już traktatu, ale przepisujecie nieodzowne prawidło do traktatu, mającego się jeszcze zawrzeć. Głosując dowiedziecie, że wolą waszą jest dójść do połączenia bezwarunkowego. Nie wierzę w siły stronnictwa municypalnego w Neapolu; ale uchwała naszego parlamentu potężnie pokrzepi przekonania tamtych ludności.

Pozostaje mi powiedzieć o zadaniu ufności. Mówiono, że chcieliśmy wywołać sąd izby nie na ministrów, ale na Garibaldiego. Nie było to naszą myślą. Rozumieliśmy przeciwnie, że oddajemy jenerałowi jeden z największych hołdów. Ważna różnica w zdaniu, nie wywołana przez nas, istniała między nami. Czyniliśmy wszystko, co od nas zależało, aby nie wyprowadzić jéj najaw; wszakże uroczyste niemal poselstwo odsłoniło ją przed krajem; ministrowie sądzili być swoim obowiązkiem zapytać Parlamentu, czy ta okoliczność nie zmieniła jego zdania. Cóż mogliśmy uczynić zaszczytniejszego dla jenerała? Czyż mogliśmy przypuszczać, że parlament podziela jego zdanie? Powiedziano, że ustąpienie z miejsc byłoby nas podniosło. Przejęci ważnością poróżnienia, usiłowaliśmy stłumić je w samym zarodzie. Dyktator daleko jeszcze był od Neapolu, kiedy nas niepokoiła już możliwość wspomnionego poróżnienia. Przełożyliśmy koronie to co się działo, bo widzieliśmy jacy ludzie otaczali jenerała, chcąc zająć przy nim miejsce prawdziwych jego przyjaciół. Przedstawialiśmy koronie nie zmianę polityki, lecz zmianę osób. Korona oświadczyła, że władza monarchiczna osłabłaby w oczach kraju i w oczach Europy, że powinniśmy przeto pozostać. Ustąpienie więc nasze stało się niepodobném. Gdyby korona dozwoliła obywatelowi, choćby największemu obalać ministerstwa, zadałoby to systematowi konstytucyjnemu cios głęboki, a może śmiertelny. Zwołaliśmy Parlament nie dla tego, aby poróżnienie uczynić nieprzejednanem, lecz dla tego, aby je umorzyć. Gdybyście zganili ministrów, ustępując nie zwątlilibyśmy żadnéj zasady; jeśli przyznacie nam słuszność, sądzimy, że Garibaldi usłucha raczéj głosu przedstawicieli swego narodu, niż głosu kilku godnych litości, szamocących się rozdzielić go z wielką sprawą narodową. Złożymy jenerałowi przedstawiony wam porządek dzienny, do którego się piszemy, oraz waszą uchwałę zaufania, wezwiemy go w imię Włoch, złączyć się z nami. (Przeciągłe oklaski).

Przechodzę do pytania dyplomatycznego. Mówiono o ustępstwach Francji. Nie powiem, iż o tém nie było nigdy mowy, ale nie pojmuję, jak można utrzymywać Włochy w podziałach, dla uniknienia przypuszczalnego ustępstwa. Nie podobna odwoływać się do traktatu 24 marca jak do wzoru. Pytanie narodowości jest niemożliwe, i czego można było żądać od jednego kraju, nikt nie zażąda tego od 22 miljonów. Postawcie na czele ministerstwa kogo chcecie, a to żądanie otrzyma odpowiedź Gino Capponi. Mówiono o Rzymie i Wenecji; mógłbym odwołać się do *przyczyny stanu* i nic nie powiedzieć, ale w obecnym czasie, lepiéj jest głośno mówić. Dziś, wszyscy uznają, że niewczesną byłaby wyprawa na Rzym, kiedy Francuzi tam goszczą; ale mąż stanu powinien wszystko przewidywać, zastrzegając sobie zmianę kierunku, stosowną do wypadków. Jakiż jest nasz ideał? Oto dokazać tego, aby nieśmiertelne miasto stało się promienną stolicą włoskiego królestwa (oklaski przeciągłe i pełne uniesienia). Ale zarzuci mi kto: jakież macie środki do osiągnienia tego celu? Ale zarzucą mi: czy wiecie jaki będzie stan Europy w danym czasie? Mogę wskazać wielkie przyczyny, które nam dozwolą szczęśliwie rozwiązać to zagadnienie, a które wystąpią do walki z moralnemi potęgami, na jakie liczymy. Spodziewamy się, że weźmie górę w społeczeństwie katolickiém przeświadczenie, że wolność sprzyja religji. Spodziewam się, że ta prawda zatryumfuje. Widzieliśmy ją uznaną przez najgorliwszych katolików. Nie waham się wyrzec, że nasz liberalny tryb rządzenia sprzyja rozwojowi religijnego uczucia. Bez naszego dwunastoletniego swobodnego rządu, religja upadłaby w Piemoncie. Kiedy to przekonanie rozleje się powszechnie, a czyny naszego wojska i naszego króla to sprawią, ogół katolików ujrzy, że Papież, który przewodniczy naszéj religji, zdoła lepiéj wykonywać swój urząd, pod obroną 25 miljonów Włochów, niż pod strażą 25 tysięcy cudzoziemskich bagnetów. Wszyscy to wiemy, że dziś niepodobna nam toczyć wojny z Austrją; niepodobna, Europa się wojnie sprzeciwia; powiem wam, że było zawsze zgubnem dla ludów zabaczanie opinji wielkich mocarstw. Największy z wojowników nowszych czasów pokusił się o to i upadł przed Europą. Inny cesarz, rozrządzający wielu stami tysięcy bagnetów, nie chciał zważać na zdanie Europy i gorzko tego pożałował. Jakże więc rozwiązać pytanie weneckie? Oto wyjednać u Europy zmianę zdania. Europa wątpi jeszcze, czy jesteśmy zdolni urządzić się w naród wolny i niepodległy; do nas należy zmienić to jéj przekonanie. Urządźmy państwo silne, opierające się na jednomyślnéj zgodzie ludności, a zdanie Europy się zmieni. Europa wierzy jeszcze, że te ludności mogą pogodzić się z Austrją. To pojednanie jest niepodobne. Niema łask, dobrodziejstw, któreby mogły skłonić Wenecję do wyrzeczenia się swych życzeń. Im Włochy będą silniejsze, tém siła przyciągania stanie się większą. Austrja wie to dobrze. Cesarz austryjacki sam to przyznał w Villafranca, chcąc wprowadzić Wenecję do konfederacji. Jeżeli chce zatrzymać Wenecję, kraj ten potępiony jest na ciągłe poskramianie; ta prawda skończy na tém, że ją zrozumieją. Jeżeli dyplomaci nie mają wnętrzności, ludy je mają, i one to dyktują prawa Angliji. Mamy za sobą nie tylko Francję i Anglję, ale i szlachetne Niemcy i przyjdzie dzień, w którym Niemcy wolni nie zechcą spólnictwa z tym systematem. Nie wiem, czy orężem, czy rokowaniami, ale dójdziemy swego. Spodziewam się, że wasza uchwała będzie jednomyślną, a więc wpływ jéj stanie się niezmiernym na powodzenie przedsięwzięcia największego, najwspanialszego, jakiego kiedykolwiek podjął się naród. (Przeciągłe oklaski).

Wniesione zostało zamknięcie rozpraw. Prezydent czyta *porządek dzienny,* doradzany przez kommissję na rzecz Garibaldiego; przyjęto go jednomyślnością śród najżywszych oklasków. Prezydent czyta tekst projektu do prawa; przyjęty jest jednomyślnie, nawet p. Bertani powstaje za projektem. Izba gorąco przyklaskuje i przechodzi do tajemnego sprawdzenia. Prawo przyjęte jednomyślnie, mniéj 6 głosów. P. Bertani składa gałkę białą tak, aby wszyscy to widzieli. Wypadek sprawdzenia wywołał nowe oklaski; posiedzenie zakończyło się o pół do szóstéj.

Dziś d. 13 października, hr. Cavour złożył senatowi prawo, uchwalone na d. 11 w izbie niższéj. Krótki wywód, odczytany przez prezesa rady, obejmuje też same dowody, które tak skutecznie wpłynęły na przekonanie przedstawicieli narodu. Hr. Cavour mowę swoję kończy temi słowami: „Nakoniec sankcja senatu nakaże milczenie wszystkim sporom między walczącymi w jednéj sprawie; opatrzy rząd potrzebną siłą do dokonania przedsięwziętego dzieła, w obec Europy wzmocni ministerstwo tém znaczeniem, które wypływa z uchwał zgromadzenia, będącego czułym i godnym strażnikiem wielkich zachowawczych zasad porządku społecznego.“

Dziennik *Opinione* czyni następne uwagi o położeniu półwyspu, pod względem stosunków międzynarodowych: „Objawy dyplomatyczne nie zapewniają tryumfu zasadom, nie zwyciężają z nich żadnéj, służą tylko do odsłonienia nieprzyjaźnych usposobień mocarstw, czyniących te objawy, a które wywołują wzburzenia, które może byłoby roztropniéj odwracać. Jeżeli podobne objawy niepodobają się Włochom, nie mogą też być mile widzianemi przez ludy, dostrzegające niezgody i sprzeczności między wyobrażeniami narodowości i swobód, a polityką swych rządów. Jest to niebezpieczeństwem rządów przeciwnych ruchowi włoskiemu. Na stopniu, na którym stanęły rzeczy we Włoszech, Europa nie ma innego wyboru prócz uznać wypadki spełnione, albo rozpasać rewolucję i zapalić znowu wojnę. Połóżmy na szali następstwa rewolucji i wojny, a wnet potrafimy osądzić, która z tych dwóch polityk jest lepszą. Lecz powiedzą nam: czyny jeszcze nie są spełnione; król Franciszek jest jeszcze w Gaecie, połączenie Włoch południowych jest jeszcze niepewne; organizacja narodu ledwie zagajona; wojsko neapolitańskie rozwiązane, trudności wewnętrzne ogromne. Zaiste, nie zaprzeczamy słuszności tych uwag. Ale czegoż one dowodzą? Że Włochy nie powinny drzemać, że należy przyśpieszyć połączenie, zbliżyć, zjednoczyć w jeden rząd, należycie stanowiony, cały naród, że nakoniec należy uorganizować i wdrożyć do broni wojsko. Kiedy Włochy znajdą się pod berłem Wiktora-Emmanuela, kiedy będą miały wojska lądowego 300,000, a na morzu przeważną flotę, wówczas mogą mieć nadzieję, że żadne państwo obce nie zaprzeczy im prawa czuwania nad swoją dolą i że rządy, dziś im przeciwne skończą na tém, że uznają czyn, mający być chwałą XIX wieku i który zostanie tém pamiętniejszym, że ziścił się bez tych straszliwych wstrząśnień, które dziś towarzyszą wszystkim zmianom państw i ludów.“

FRANCJA.

Paryż, *12 października.* Wracamy jeszcze do artykułu dziennika *le Constitutionnel.* Daliśmy wprawdzie treść jego przez telegraf udzieloną, ale ponieważ pismo to, jak wszystkie półurzędowe, nosi na sobie podpis sekretarza redakcji p. Boniface, ponieważ wiele osób upatruje w niém, jeżeli nie rzeczywistą myśl cesarza, to przynajmniéj jeden z objawów przez zjazd warszawski spowodowanych, każdy więc wyraz, w obecnéj chwili, może mieć swoje znaczenie; powtarzamy więc słowa dziennika w zupełności: „Najście kraju neapolitańskiego, przez wojsko piemonckie jest już czynem spełnionym; chcemy roztrząsnąć z najściślejszą bezstronnością znamiona i doniosłość tego wypadku. Władza najwyższa państw, jest zasadniczą rękojmią niepodległości ludów. Ta władza ma rozmaite rodzaje działania; może spoczywać w dynastji, która ją przekazuje, albo w narodzie, który ją udziela. Dopóki wykonywa się na sobie saméj, w obrębie, w którym ją opisało prawo międzynarodowe, należy do siebie saméj i działa z zupełną wolnością i całkowitą odpowiedzialnością przed opinją świata, skąd kiedyś wytryśnie sumienie dziejów.

„Zasada niezawisłości, prawidłowie ustanowionych autonomji, dopuszcza politycznych przejawów ludu; zmiany dynastji, dokonywane z jego woli, wstrząśnienia wewnętrzne, w które wciągają go albo namiętności, albo potrzeby, są to wszystko objawy jego najwyższéj władzy, którym inne państwa, bez narażenia swéj własnéj, zaprzeczać nie mogą. Polityka *nieinterwencji,* któréj nasza epoka zapewniła powagę, jako wypadek postępu prawa międzynarodowego, jest tylko uświęceniem tych wzajemnych rękojmi. Zastosowanie téj zasady i tych prawideł do zdarzeń, mających się ocenić, wysnuwa się samo z siebie. Jeżeli podoba się Sycyljanom i Neapolitanom zrobić rewolucją domową, do nich to tylko należy; ale nie godzi się żadnemu państwu obcemu, ani Piemontowi, ani Austrji wtrącać się w ich wewnętrzne sprawy i narzucać im jakiekolwiek warunki bytu politycznego, przez zbrojną interwencję. Między najściem Garibaldiego i najściem wojska piemonckiego, zachodzi uderzająca różnica. Garibaldi był tylko partyzantem, przed odpłynieniem do Sycylji, wrócił swemu królowi oręż dowódzcy; był posłusznym temu, co poczytywał za posłannictwo osobiste i czyny jego wkładały nań wyłączną odpowiedzialność. Jeżeli prawda, że między ochotnikami zaciągnionymi do jego przedsięwzięcia, znajdowali się cudzoziemcy, niemniéj jednak Garibaldi przybywał w imieniu ziemi włoskiéj, jako Włoch, dla kierownictwa i rozniecenia rewolucji wewnętrznéj, w państwach króla neapolitańskiego. Z tą garstką nie zdobyłby 10 miljonowego narodu, mógł tylko przelać weń własny zapał i pociągnąć urokiem, otaczającym jego imie, do ostatecznéj walki z rządem, który miłość ludu odstąpiła. Najście piemonckie inne zupełnie nosi znamię, stanowi proste wmieszanie się państwa regularnego w państwo niepodległe; jest więc krzywdą domierzoną władzy najwyższéj króla Obójga Sycylji przez króla sardyńskiego; jakby wszystko powinno było być dziwném i anormalnem w tém położeniu, najście piemonckie dzieje się bez wypowiedzenia wojny, i wówczas, kiedy przedstawiciel króla neapolitańskiego znajduje się jeszcze w Turynie. Ale postępowanie Piemontu nie tylko przeciwi się prawu narodów, jest ono nadto w sprzeczności ze wszystkiemi zasadami, do których Piemont sam się odwoływał, a które dziś zabacza. Bo w istocie, kiedy rząd rzymski zdawał się zamyślać o wezwaniu interwencji neapolitańskiéj, aby go zasłoniła od gróźb rewolucji, gabinet turyński nie wahał się oświadczyć, że wejście wojska neapolitańskiego w granice państw kościelnych poczyta za zgwałcenie ich neutralności. Świeżo jeszcze zaprzeczał Papieżowi prawa utworzenia sobie wojska z żywiołów cudzoziemskich, a ponieważ Ojciec ś. nie usłuchał odezwy, wymagającéj rozwiązania téj siły zbrojnéj, państwa jego zostały najechane. Z jaką dziwną niekonsekwencją Piemont, który obstawał, w sposób tak groźny, za zasadą neutralności przeciw rządowi, szukającemu własnego ocalenia, gwałci je dzisiaj z takiém zuchwalstwem, przeciw temuż samemu rządowi dla jego obalenia? Więcéj jeszcze: kiedy hr. Cavour chciał w *memorandum* swojém usprawiedliwić najście na państwa kościelne, jasno dał do zrozumienia, że Piemont chciał tam uprzedzić wtargnienie rewolucyjne i że ten czyn, tak ważny z jego strony, był wojskowym zamachem stanu, głównie wytężonym przeciw wpływowi Garibaldiego. Owoż, wdając się dziś w sprawy państwa neapolitańskiego, czyż Piemont ma walczyć z Garibaldim? Oczywista, że nie! Spieszy mu na pomoc. Nie na Neapol, ale na Gaetę posuną się siły piemonckie. A więc jakiekolwiek stanowisko zajmiemy, niepodobna nieubolewać nad postępowaniem Piemontu. Najazd państw kościelnych i neapolitańskich ściąga na Piemont odpowiedzialność, którą byłoby daremném zmniejszać; znamienuje ona sama siebie. Nie należy do nas ani jéj zwiększać, ani pomniejszać: obowiązkiem naszym jest tylko wykazać, że istnieje. Piemont odpowiedzialnym jest przed Europą za danie początku. Europa składa sądownictwo, które koniecznie zwrócić musi uwagę na te wielkie wstrząśnienia, jakich Włochy są dziś widownią. Sądzimy, że do niéj i do niéj jednéj, należy dźwignąć zabaczone prawa i przypomnieć rządom, które się od niego oddalają uszanowanie dla praw obowiązujących wszystkie państwa, gdyż te prawa opierają się na sprawiedliwości, cywilizacji i przemyślności ludów.“

Dziennik *le Toulonnais* pisze, że trzecia dywizja, wyprawiona z Francji, dla zasilenia wojska francuzkiego w Rzymie, ma przybyć do Tulonu d. 20 b. miesiąca, i że marszałek Vaillant, pod koniec tegoż miesiąca, uda się dla objęcia dowództwa nad rzeczoném wojskiem. Mówią także, dodaje tenże dziennik, o powrócie do Francji jen. de Noue. *(J. d. S. P.)*

ANGLJA.

Londyn, *12 października.* Wiadomości dochodzą nas wyłącznie z zagranicy. Dziś, dzień przeszedłby bez żadnéj nowiny, gdyby telegraf nie przyniosł treści artykułu dziennika le *Constitutionnel* o najściu na państwa rzymskie i neapolitańskie. Ten artykuł, będący rodzajem nagany, czy protestacji, nie sprawił tu wrażenia, jakiegoby należało po nim oczekiwać. Słusznie, czy niesłusznie, mniemanie powszechne jest niekorzystnie uprzedzone, i wierzy, że Francja z Piemontem łatwo się porozumieją. Nikt nie myśli, aby widoki Napoleona III miały sprzeciwiać się dążeniom Wiktora-Emmanuela. Niedowierzanie jest na porządku dziennym i artykuł dziennika *le Constitutionnel* spudłował.

Dnia 15 tego miesiąca, królowa angielska wypłynie z Antwerpji z powrótem do swego państwa.

DEPESZE TELEGRAFICZNE

TURYN, 16 października. Jutro król Wiktor Emmanuel odbędzie wjazd do Neapolu. Francja nie uznała blokady. Garibaldi przedsiębierze sprężyste środki do utrzymania porządku; ogłosił, że każdy, co ośmieli się wołać: Niech żyje rzeczpospolita! będzie rozstrzelany. Podług wiadomości z Peruzy z d. 15, rząd papieski miał powydalać w Viterbo mnóstwo urzędników z zajmowanych przez nich posad; emigracja z tego miasta codzień pomnaża się; komissarz jeneralny piemoncki przedsięwziął środki dla wspomagania wychodźców. Listy nadeszłe z Neapolu, następnie tłumaczą dymissję margrabiego Pallavicino, która zresztą została cofniętą. Republikanie oskarżyli pana Pallavicino, że przeszkadzał zaciągom ochotników, Garibaldi zaś, uwierzywszy temu zaskarżeniu, miał wydalić tego ministra, zwołać zgromadzenie na d. 11 listopada, gdy objaw mniemania powszechnego skłonił go do zaniechania tego zamiaru.

MARSYLJA, 16 października. Listy z Neapolu, pisane dnia 13 donoszą, że dnia 12, z powodu dymissji margrabiego Pallavicino i ministrów, gwardja narodowa przesłała uwagi swoje Garibaldiemu. Ostrzeżony, że rozruch miał wybuchnąć, dyktator rozkazał strzelać, skoroby się dał słyszeć głos: Niech żyje rzeczpospolita! Przeciągające po ulicach oddziały straży były witane okrzykami: Precz z Mazzinim! precz z Crispim! Dyktator ogłosił proklamację, zapowiadającą blizkie przybycie Wiktora Emmanuela: Przyjmijmy, rzekł, posłańca opatrzności; niech odtąd zniknią niezgody; niech Włochy zjednoczone i król uczciwy człowiek, zostaną wiecznèm godłem narodowego odrodzenia! Okolnik wyborczy, tchnący tymże duchem, rozesłano do gubernatorów. Depesza otrzymana z Sycylji uwiadamia, że dekret, naznaczający głosowanie na dzień 21 października, przyjęto z najżywszą radością, tudzież że kolumny ruchome skutecznie przyczyniają się do poboru podatków.

MONACHJUM, 16 października. Nowa gazeta Monachska ogłasza depèszę turyńską z d. 15, donoszącą, że ministerstwo jest w wielkim kłopocie, ponieważ posłowie, pruski i rossyjski urzędowie protestowali przeciw wejściu Piemontczyków do królestwa neapolitańskiego i oświadczyli, że w razie niezważania na protestację, minister rossyjski zażąda paszportów.

WIEDEŃ, 16 października. Gazeta Tryestyńska donosi, że 2,000 korpus turecki ma wylądować w Raguzie, dla wkroczenia do Hercogowiny.

KARLSRUHE, 16 października. Dziennik praw ogłasza ustawę, zamieniającą konkordat. Tenże dziennik obejmuje rozkaz wielko-książęcy, zwołujący jeneralny synod dla narad w ogólnych sprawach kościoła protestanckiego.

MADRYT, środa rano 17 października. W chwili, kiedy królowa wyjeżdżała do Puerta del Sol, młodzieniec, uzbrojony w mały pistolet, chciał do niej strzelać, ale broń zawiodła. Sądzą, że winowajca jest obłąkany.

TURYN, 17 października. Depesza Monachska o mniemanéj protestacji dworów, Rossyjskiego i Pruskiego, jest bezzasadną.

Depesze neapolitańskie oznajmują, że wojska królewskie znowu uderzyły na powstańców, lecz zostały odparte. Hr. Amari przedstawiciel Sycylijski, podał się do dymissji, król Wiktor Emmanuel będzie jutro w Chieti.

MARSYLJA, 17 października. Depesze z Konstantynopola z d. 10 donoszą, że bezpośrednie odwołanie wielkiego wezyra zaszło na domaganie się posła angielskiego pana Bulwer. Poseł rossyjski otrzymał telegraficzny rozkaz z Petersburga, zanieść protestację przeciw temu odwołaniu. Dawniéj już poseł francuzki, margrabia de la Valette, wyraził Riza-paszy żal, że poruczenie Kuprisli-paszy zostało niewykonane; dywan rozpadł się na dwa obozy.

Skarb turecki jest w takim niedostatku, iż radzić sobie musi małemi lichwiarskiemi pożyczkami; miał pożyczyć 6,000,000 u Szwajcarów. Na przypadek, gdyby nie udało się puszczenie w obieg assygnat, zamyśla o zaciągnieniu pożyczki 200,000,000 w Europie.

Donoszą z Bejrut 8 października, że jenerał Beaufort d'Hautpoul znajduje się u podnóża Libanu i rozdaje wsparcie chrześcijanom. W Damaszku wybuchnął opór przeciw nałożonemu przez Turków podatkowi na wojnę.

MADRYT, 17 października. Śledztwo rozpoczęto przeciw sprawcy zamachu. Zowie się on Rodrig Pervia; był urzędnikiem przy panu Nunez-Pradeo deputowanym w Kortezach; przyznał się do zbrodni. Parostatek Lloyda Ferdynand Maksymiljan, przybyły do Tryestu d. 15, przywiózł następne wiadomości: *Madras 14 września.* Sławny tron kryształowy Delhi wysłany został do Anglji dla złożenia go w darze królowéj Wiktorji.

BATAWJA, 14. września. Bunt w Samarang między wojskiem cudzoziemskiém: dziewięciu ludzi zabito, 35 powieszono; odkryto, że podobne bunty przygotowane na całéj wyspie Jawa.

SHANGHAI. Powstańcy ogłosili o swojém przybyciu i zagrozili miastu zemstą, jeżeli się nie podda. Wczoraj uderzyli na Shanghai, ale artyllerja ich odparła. Miasto znajduje się pod opieką wojsk francuzkich i angielskich. Na głównych ulicach wzniesiono barykady. Mieszkający w niém cudzoziemcy utworzyli korpus ochotników. Sprzymierzeńcy wylądowali 1-go sierpnia do Pehtang, ale warownie znaleźli opuszczone; znaleziono w nich tylko działa drewniane i trzech żołnierzy. W utarczce z jazdą tatarską, 14 ludzi raniono; sprzymierzeńcy pociągnęli na twierdzę Taku, na którą mieli uderzyć 15 sierpnia.

KANTON, 24 września. Główne drogi są w ręku powstańców. Handel zupełnie upadł.

BERLIN, środa 17 października. Gazeta pruska dzisiejszego rana, mówiąc o widzeniu się barona Schleinitz z lordem Russel w Koblenz, pisze: Serdeczne stosunki, istniejące ciągle między Anglją i Prusami i które istnieć zawsze będą między obudwóma państwami, dopóki spólne dobro zabaczoném nie będzie, zyskały jeszcze na pewności i rozmiarach przez widzenie się w Koblenz, w skutek wymiany zgłębionych myśli, która miała miejsce między mężami stanu, kierującymi sprawami dwóch mocarstw. I te serdeczne stosunki utrwaliły się więcéj, niż kiedykolwiek. Im zawilsze jest położenie systematu państw europejskich, tém większa jest nasza radość, iż możemy uwiadomić o zgodności, w widokach i w zdaniach wzajemnych o wielkich i ważnych przedmiotach.

Artykuł, kończąc, mówi co następuje: W chwili, w któréj zjazd Warszawski okazuje dobre porozumienie, panujące między Prusami i wschodnimi ich sąsiadami, szczęśliwy wypadek rozmowy Koblenckiéj dowodzi, że Prusy umieją oceniać ważność wysokich interesów, łączących je z Anglją.

LONDYN, środa 17 października. Depesza zakładu Reutera. Rozbiegła się wieść, że ks. Petrulla pełnomocny minister króla Obojga Sycyliji w Wiedniu, uda się do Warszawy, z poruczeniami swojego rządu. Ksiądz Sacconi nuncjusz papiezki, opuszcza Paryż dnia 19 października.

BERLIN, piątek 19 października. Ks. rejent wyjeżdża jutro zrana do Warszawy, ponieważ minister spraw zewnętrznych zachorował, zastąpi go podsekretarz stanu pan Gruner.

(Z HEJNEGO).

Kochanków dwoje ja znałem na świecie,
Co się zrozumieć nie mieli sposobu,
Gniew ich rozdzielał. Cóż na to powiecie,
Miłość oboje przywiodła do grobu.

I przez lat wiele, gdy już się rozstali,
Czasami we snach widzieć mogli siebie
A późniéj, słyszę, i poumierali,
Ha, to i lepiéj, rozmówią się w niebie.

29 września 1860 r. (x)

ODPOWIEDŹ PANU KOSTOMAROWOWI.

(artykuł Tadeusza Padalicy).

P. Kostomarow umieścił w sierpniowym zeszycie pisma rossyjskiego „*Sowremiennik,*“ odpowiedź na artykuł mój z powodu sporu jego z professorem Sołowjewym „o *Kozaczyznie,*“ drukowany w *Kuryerze Wileńskim.* Pisarze małoruscy tak dziwnie zapatrują się na historję polską i tak dziwniejsze jeszcze dodają do poglądów swe *Credo,* żeśmy postanowili rozpowiedzieć o nich czytelnikom. Równie też odpowiadamy i na artykuł szanownego professora, raz dla tego, że upomniał się o to, powtóre, że rozmawiamy o kwestjach, historję a nie osobistość mających na celu.

P. Kostomarow zarzuca nam na wstępie, żeśmy niesłusznie posądzali go o stronność i nieżyczliwość dla Polaków, rozpowiada, że taki zarzut spotkał go i ze strony patryotów małoruskich i protestuje, że on nie wnosi patryotyzmu w sferę nauki. Do nas tak się odzywa: „Czasby już, doprawdy czas, zostawić na stronie przesądy, które zmuszają Polaków upatrywać w każdym historycznym obrazie z przeszłości, bezpośredni stosunek z teraźniejszością. Nic niewłaściwszego jak użycie wyrazów: *my, nasze, nas, u nas,* gdy rzecz idzie o czasy oddalone od obecnéj chwili na dwa lub trzy wieki. Polacy, jako naród wyłącznie arystokratyczny, niemogą uwolnić się w historycznych swych sądach od arystokratycznego sposobu myślenia. Zdaje się im, że co się tyczy przodków, dotycze ich samych; że przeszłość żyje z teraźniejszością. Dla nas, Rusinów, wszystkie takie poglądy są nietylko niewłaściwe, lecz śmieszne. My lepiéj rozumiemy od nich, że występki nie tylko pradziadów ale ojców, nie plamią prawnuków ani dzieci. U nas słowo: *my,* może być stosowane li do obecnéj chwili. Co było, byłém porosło; umarli to nie my,—a więc mówcie o nich co się wam podoba,—to się nie tycze nas samych. Za to co się stało, oni-by i odpowiadać powinni, ale ich niema już, więc z jakiéj racji my odpowiadać mamy? Czyny ich mogą być sądzone bez namiętności. A dobrzy oni byli—nam stąd nic lepiéj. A źli,—wstyd nie na nas spada, bylebyśmy sami źle nie robili.“

Takie jest pojęcie autora o solidarności historycznéj. Jest to razem ciekawa recepta na wszelkie choroby pewnego rodzaju, za którą życzliwe składamy dzięki, chociaż przepraszamy, że jéj nie użyjemy, bo co pomaga jednemu, może być niewłaściwém dla drugich, a na zalecane torsje, organizmu zdrowego narażać nie chcemy.

Jeżeli chodzi tu o wyłączenie przesądów narodowych, oburzających się na każdą plamę ukazaną w przeszłości, zgadzamy się zupełnie z autorem, że to jest błędem. Ale uprzedzamy go, że nie z przesądu lecz z poczucia się w prawie, wymówiliśmy mu, że źle patrzy na przeszłość naszą. Wyświeciliśmy fakta bez względu czy usprawiedliwiają lub potępiają przodków; a stało się tylko przypadkiem, że w tym razie broniliśmy strony ich dobréj, bo złą opisał p. Kostomarów.

Czy nas to boli, jeśli widzieny, że ktoś rozmyślnie lub nie rozmyślnie kala przeszłość naszą?—to pytanie inne. Wyznajemy, że boli i że bez zadania sobie gwałtu, nie moglibyśmy wymówić obojętnie: „umarli to nie *my,*—a więc mówcie o nich co się wam podoba.“ Ale pośpieszamy zapewnić szanownego professora, że tego uczucia nie wystawiamy na tandetę, bo mamy cześć synowską dla niego. Wiemy, że ono niepopłaca w obec praw ogólniejszych i nie waży na szali prawdy historycznéj. Wiemy, że historja wyda sąd bezstronny na ojca, bodajby w obronie jego rodzony syn stanął, a wiedząc to, na dowodach opieramy sprawę, bo wyrok wedle tych dowodów nastąpić musi.

Metoda p. Kostomarowa co do pojmowania przeszłości, jest wbrew przeciwną uznanéj dziś powszechnie metodzie historycznéj i pod pokrywką bezstronności, kryje zarówno odstępstwo jak indyferentyzm. Takiego gwałtu nie popełnia żadna nauka na sumieniu ludzkiém. Ani jednostka, ani naród nie mogą się izolować takim sposobem od swéj przeszłości, żeby nie cenić zabranego po niéj spadku w ziemi, krwi i pamiątkach. Groby mogą niemieć wartości historycznéj, ale dla czegoż potomkom mają się zdawać *śmieszne?* Gdzie niema czci dla ojców, tam niemoże być miłości dla dzieci...

Nigdyśmy nie mówili, że występki ojców plamią dzieci, ale to pewna, że ponosimy skutki ich cnót jak błędów. „Za to co się stało, powiada p. Kostomarow, oni-by i odpowiadać powinni; ale ich niema już, więc z jakiéj racji my odpowiadać mamy?“ Wyborne dowodzenie! Jakby to od nas zależeć mogło! Właśnie w téj konieczności leży solidarność przeszłości z teraźniejszością i właśnie dla tego pisze się historja, ażeby oddając spadek ojczysty na potomków, dała im wraz z tém radę, naukę i doświadczenie. Dla tego stała się ona dziś niezmiernie szacownym materjałem dla studjów nad duchem, chakterem i cywilizacją narodu, gdyż bez tego klucza niemożna powiedzieć i tego, co on wyraził i tego co wyrazić zdolny. Żeby historja była czémś tak niekonsekwentném i oderwaném od teraźniejszości, jak utrzymuje szanowny professor, tobyśmy do żadnych nie przyszli wniosków, a poprawili tylko jeden drugiemu kilka dat, kilka imion—i na tém koniec. Nie, panie professorze, nauka dziś nie robi gwałtów i nie depce praw moralnych, owszém służy na to, żeby je oczyszczać i podnosić. Fałszywa to nauka, co mi podaje ziarnko wiedzy za cenę odstępstwa. Tak sławiański djabeł, oddawał skarby świata za kroplę krwi z mizińca. Przeszłość nasza ma pijane momenta jak i biblijny Noe, ale tylko Chamy obojętnie na nią patrzeć mogą.

W sporach historycznych, które dotąd prowadzono z nami, zawsze było najtrudniéj zrozumieć całą wagę i doniosłość téj zasady moralnéj, na któréj się zbudowało i rozwinęło polityczne życie Polski. Zrażała przeciwników naszych anarchja, bałamuciły rażące przykłady swawoli szlacheckiéj i po za fakcikami leżącemi na samym wierzchu narodowego ciała, nie widzieli już oni nic więcéj. P. Kostomarow, chociaż zajrzał w przeszłość naszą głębiéj niż inni, nic wszakże nie wydostał z jéj treści i z wyjątków oceniał jéj wartość. Nawet, gdyśmy go przestrzegli o omyłce, zrozumieć jéj nie mógł i ciągle wskazywał na fakta. Widzieliśmy wyraźnie z tych zarzutów, że p. Kostomarow prawo narodu, bodaj rozwinięte z najpiękniejszych zasad, ma za nic dla tego tylko, że znalazł kilka faktów przekonywających go o nadużyciu. Dla nas, przeciwnie, prawo tłumaczy zupełniéj stan rzeczy, bośmy w historji nie widzieli przykładu, ażeby społeczność zobowiązała się jakiémkolwiek prawem nieodpowiadającém stopniowi moralnego i obyczajowego jéj stanowiska. Pojmuje on łatwiéj złe absolutne i nawet przenosi je nad instytucje liberalne, bo mu prawo samo nie uosabia władzy, a bez kułaka, któryby porządkował społeczność, nie umie wyobrazić sobie błogiego stanu ludów!...

Jakże to przypomina jedną powieść Gogola, któréj bohater nie umie pojąć bezkrólewia w Hiszpanji i ciągle powtarza: „To być nie może, żeby niebyło króla! król musi być, ale tylko niewiedzą gdzie się podział.!“

P. Kostomarow powiada: „Nie sprzeczam się, że prawo i ustawy polskie były szlachetne i mądre. Niech sobie będą nie tylko mądre, ale przemądre nawet; ale to pewna, że lud na Ukrainie ich nie życzył i nie pozwalał wznosić na ich zasadzie budowy społecznéj.“ Przyszedł on do tych wniosków ze studjów nad hadziacką umową i *Czarną radą.* „Czytając te umowę, mówi daléj, znajdziecie w niéj tyle rzeczy pięknych, świadczących o rozumie i głębokim poglądzie tych co ją napisali, że mimowolnie żałować przychodzi dla czego nieprzyszła do skutku? Dla czego lud tych dobroczyńców swoich, jednych wygnał a drugich zwalczył? Dla czego niezrozumiał on moralnéj wartości swobody, niezawisłości i oświaty, jakie mu przyrzekała umowa?

„Wszakże wpatrzywszy się bliżéj, przeświadczycie się, że lud nie bezwarunkowie był winien, i massa, przy całéj swéj nieświadomości, widziała rzecz tę jaśniéj, aniżeli owe grono ukształconych jéj przywodców. Instynktem pojęła ona, że przegra ostatecznie swą sprawę, jeśli pozwoli przyjść do skutku zamiarom ludzi stojących na jéj czele, zupełnie tym sposobem jak już raz przegrała, przyłączywszy się do Polski, z czego odnieśli korzyść ci tylko, którzy do wyższego należeli stanu.“

Takie omówienie wymagało tłumaczenia dla czego lud ukraiński nie żądał *uszlachetnienia,* które mu niosła Polska? Zwracamy uwagę czytelników naszych na te oryginalne motywa, tém bardziéj iż pewni jesteśmy, że nie spotka on dzisiaj w żadném historyczném dziele nic podobnego. „Potrzebaż tłumaczyć, powiada autor, czego chce ten naród? Nie; powiemy raczéj czego on nie chce. On nie chce *uszlachetnienia* prawa jednych nad drugimi, wzbogacenia się kilku. On niechce żeby *karmazynowiec, znaczny,* patrzał z wysoka na ubogiego najmyta w siermiędze i łapciach; on nie chce, żeby jego towarzysz był wolen od pobojów, wtedy gdy biją innych. Gdy biją ludzi, to niech biją wszystkich zarówno! On nie chce, ażeby co jednemu wolno, niepozwalało się drugiemu; nie chce, żeby jeden podlegał karze za swawole, a drugi nie podlegał,—niech raczéj wszyscy jéj podlegają zarówno. On nienawidzi prawo, bo je napisano dla kilku a na szkodę pozostałych; niech lepiéj zapanuje nieograniczona wola jednego nad wszystkimi.“

Ta warjacja na temat historyczny dla tego ciekawą jest dla nas, żeśmy ją poraz pierwszy usłyszeli od p. Kostomarowa. Pomaleńku wylazło szydło z worka. Dotąd nikt jeszcze przed nim, ani on sam nawet nie był tak otwartym. Ale uchylając domysły, o których mówić nie możem i niechcemy, bierzmy te myśli jako przekonania historyczne i zastanówmy się nad niemi. Pierwszy to raz p. Kostomarow strącił uroczyście Zaporoże i Kozaczyznę z ludu, ulepił zeń osóbne polityczne ciało i wmawia w nas, że ono główną miało rolę na scenie dziejów. Dotychczas bronił on i Zaporoża i Kozaczyzny, tam widział jądro narodowéj myśli i ześrodkowaną siłę życia; ale gdy i sam się przekonał i przekonano jego, że Zaporoże było zlepkiem rozmaitych żywiołów i służyło każdéj bez wyjątku sprawie, a Kozaczyzna wyobrażała ideę Rzeczypospolitéj i szlachta co jéj przewodniczyła tak dobrze była kozacką jak polską,—wyparł się obudwu i całe fatum dziejowe oparł na instynktach massy. Jeżeli strącimy Zaporoże i Kozaczyznę z dziejów ukraińskich, doprawdy, niewiem z czém zostanie p. Kostomarow i z jakich faktów śledzić będzie narodowe życie? Został mu w ręku ogromny ludowy tułów bez rąk i głowy, który nie wybełkotał dotąd żadnego słowa w imieniu swojem i żadnéj nie miał w dziejach roli.

Czego chce ta massa? p. Kostomarow nie wie; ale wie czego nie chce i ratuje ją potężnie sztuką brzuchomówstwa. Massa raz widzi rzeczy jasno, znowu idzie omackiem. Hadziacką umowę, choć mądrą, gmin zwąchał doskonale, że mu chce skroić ciasne bóty—i wywrócił; tymczasem dał się usidlić dość jawnym intrygom Brzuchowieckiego i oddał mu na ofiarę szlachetnego i rycerskiego Somka! Czém pachły instynkta gminne, gdy wyrzynały rossyjskich wojewodów w 1668 roku, p. Kostomarów nie mówi ani słowa, choć to się stało w pięć lat po owéj sławnéj *Czarnéj radzie;* milczy też i o hadziackiéj radzie, odbytéj w tymże roku, chociaż bylibyśmy ciekawi bardzo dowiedzieć się jak gmin wymotywował sobie nowy instynkt przerzucenia się na stronę Ottomańskiéj porty? Zdradzając Mazepę, nikt już niewie dla czego tak zrobił. Instykt tak był ciemny, że go nawet p. Kostomarow odgadnąć do dziś dnia nie potrafił, jak nie potrafił odgadnąć i Mazepa! „Ten starzec, powiada, przeświadczony o czystości zamiarów swoich i razem ich zawodzie, wyznaje, że ojczyznie jego gotuje los przyszłość jakąś inną! Nie taką, dodaje p. K. jakiéj on oczekiwał, krótkowidzącemi oczyma; nie!... jakąś *niewiadomą!*“

Owoż wybrnąwszy z grubego realizmu, wpadliśmy w najzupełniejszy mistycyzm.

Szczerze wyznajemy, żeśmy się nie spodziewali słyszeć nic podobnego. Odwołanie się szanownego professora do instyktów gminnych i dowolne tłumaczenie jego oscylacij, — jest fatalną historyczną rejteradą, na któréj z każdéj stronnicy dziejów, bić można do wszystkich jego boków. Wybrał on jeden z najgorszych środków, gdy miał lepsze. Gdzie p. Kostomarow obaczył tę massę, grającą taką przeważną rolę po za obrębem Zaporoża i Kozaczyzny? Nigdy ona, ale to zupełnie ani razu, nie wydała własnego głosu, lecz wlewała się statecznie w organizację wojskoskową Zaporoża i Kozaczyzny, a tam, o ile słuchano jéj instynktów, o ile ona słuchała kogoś, o ile była panią idei politycznéj, o ile jéj najmytem, wiedzieć nie można. To tylko pewna, że służyła idei narodowéj i sąsiadom i prywacie i nawet za pieniądze! Po epoce Chmielnickiego, narobiła tyle tropów, że wśród nich nieraz błąkała się sama. Wszak, jeśli miał ją na usługi Trubecki, miał i Wyhowski; jeśli miał Brzuchowiecki, miał i Somko; jeśli wiązała się z Jurasiem Chmielniczenkiem, to nie gorzéj służyła Doroszenkowi i Turkom. Niech-że ktoś będzie tak mądry i wytłumaczy te pulsacje ludu, który jednocześnie służył wszystkim i szarpał się wzajem?

Jest to siła bezsprzecznie wielka, ten instynkt ludowy, ale trzeba go znać lepiéj, ażeby powiedzieć czego wart rzeczywiście i jak daleko sięga i kiedy odzywa się prawdziwą a kiedy fałszywą nutą. Jest to instynkt ciemny, zwierzęcy, ograniczony. Im słabiéj ścieżki jego oświeca pochodnia rozumu, tém uparciéj rządzi się zmysłami. Ma cnoty, o ile ma zdrowie. Niema obłudy, bo na to jest za głupi. W jego ból i radość wierzyć można, ale wyleczyć siebie z rany ani zasilić chorego organizmu on nie potrafi. Mocen jest żelazne skruszyć pęta a zaplątać się ostatecznie w łykach. Dokaże cudów waleczności, ale rozhukany zerwie lejce i kark skręci w przepaści. Jeżeli tedy te lejce są mu potrzebne, ażeby korzystnie zużytkował siły, to niema za co wznosić go do apoteozy.

Nie chodząc daleko po przykłady, wskażemy je w téj saméj historji Cmielnickiego, którą p. Kostomarow napisał.

Chmielnicki pierwszy miał sposobność na szeroką skalę podnieść massy i rozpalić jéj instynkta w imię idei wyzwolenia. Szło wszystko dobrze, dopóki było co grabić i palić; ale gdy przyszło zatrzymać niszczący żywioł i powrócić go w karby porządku i prawa, gdy czas było zawrócić gmin do pracy, bo żyć cudzém niemożna wiecznie,— wtedy gmin nie rozumiał już téj konieczności i wtedy to po raz pierwszy postrzegł Chmielnicki, że rozhukana tłuszcza bierze na kieł i zwycięzki jego rydwan nad przepaść unieść może. Ale p. Kostomarow nie widzi tego. On widzi tylko, że gmin ma pragnienie i bez względu na to że to jest pragnienie gorączkowe,— ma za złe nawet Chmielnickiemu ile razy nie zaspakaja onego. On go obwinia za każde targnięcie lejców, któremi jeśli nie osadzić, to przynajmniéj skierować na drogę chciał ten śmiały woźnica swój cug silny, a tego nie chce widzieć, że ten cug szalał już bez pamięci! Stąd wszystkie przedmioty

w historycznym kalejdoskopie p. Kostomarowa przewracają się i dają całkiem inne kształty. Co w Chmielnickim jest czynem trzeźwym i rozsądnym, to p. Kostomarow nazywa błędem, i ma mu jakby za złe, czemu jest trzeźwy, gdy popili się wszyscy. Co przeciwnie, nosi cechę rozpasania się a namiętności ludzi i wodza huczą wjedno,— tam widzi go we właściwéj roli. Szczególna, że Chmielnicki właśnie wtedy najwyraźniéj wtórował krwiożerczym instynktom gminu gdy bywał pijany! Mamy na to wiele anegdot w saméj historji p. Kostomarowa. Definjują one doskonale charakter czynu, który li za pomocą gorzałki przychodził do równowagi między wodzem a ludem. Widoczna, że sam Chmielnicki nieznał dobrze téj siły i poznał ją aż wtedy, gdy już nim kierować zaczęła. Od téj pory, datuje się w nim ta zmienność w postępowaniu, to łamanie traktatów, to przerzucanie się nakonice i szukanie u postronnych oporu, które p. Kostomarów zowie „niewytłumaczonemi“ a które tłumaczą się wyraźnie pasowaniem się z rozhukanemi instynktami massy.

Chmielnicki był stale zwolennikiem ustaw Rzeczypospolitéj, znajdował je mądremi i wystarczającemi dla ludu. Nie reformy żądał on lecz naprawy, ale lud zaprowadził go daléj. Po Chmielnickim aż do Mazepy, nie wskaże mi p. Kostomarow ani jednego hetmana, ani jednéj rady, ani jednego traktatu, gdzieby odrzucono zasadę prawa polskiego a zastąpiono ją czémś lepszém. Hetmani i starszyzna nakłaniali się ciągle ku téj lub owéj stronie, oddawali się w opiekę tego lub innego sąsiada, ale prawa jak wiarę przynosili z sobą i na wstępie warowali ich nietykalność.

Niesłuszna więc zarzucać, że gdy wszyscy z dobréj strony pojmowali instytucje Rzeczypospolitéj, wszyscy nie mieli słuszności, a miał ją gmin tylko, który widzimy w momentach rozpasania się i mordów, ale którego nigdzie nie widzim w stanie trzeźwym i radzącego o swych losach. Ostatnie czyny Chmielnickiego i następców jego, czémże są w istocie, jeśli nie ciągłém ratowaniem ojczyzny, nie już od ciemiężenia polskiéj szlachty, ale z biedy, w którą ją rozpasany wprowadził naród, a z któréj wycofać się nie umiał. Lud parł się widocznie ku swobodzie, ale ją pojmował po swojemu. W woli téj była już swawola, któréj nikt znosić nie mógł, a na nieszczęście, on do tego stopnia zdemoralizował się wojną, że innéj nie rozumiał. Wycieńczenie wprowadziło go w karby uległości, a raczéj powiemy w znużenie. Wtedy stracił on szlachetny cel z oczu i zrujnowany ostatecznie poszedł służyć intrygom i prywacie.

Oto do jakich następstw doprowadziły Ukrainę instynkta gminne, któremi się zachwyca p. Kostomarow! Chmielnicki umiał je rozpalić i zaprowadzić lud do zwycięstw, ale od czasu jak one zaczęły prowadzić Chmielnickiego i jego następców, — nie tylko nic nie zdobyły nowego, lecz straciły i to co on zdobył. P. Kostomarow, broniąc innego założenia, rozmyślnie prześlepia te fakta, chociaż potyka się o nie na każdéj karcie dziejów od Chmielnickiego do Połubotka, i żeby czémkolwiek wytłumaczyć myśl swoję, że lud nie życzył polskiego uszlachetnienia, odcina go od Kozaków i starszyzny, które go kompromitują tém, że chcą tego uszlachetnienia, i *Czarną radę* stawia za przykład. W téj *Czarnéj radzie*, ze świecą w ręku nie odszukałbyś najmniejszych dowodów, że gmin miał jakąś rolę, ale p. Kostomarów zamienił go w ducha i powiada, że tam go złapał właśnie!...

Wszakże widzimy, że to duch p. Kostomarowa a nie narodowy, powykrzywiał historyczne fakta, żeby nie przystawały do myśli polskiéj. Narodowy nie odszczepiał się, bo rozwinął się na niéj. On stracił był wiarę w sojusz, ale nie w prawa i swobody, na których wziął życie. Dla tych samych przyczyn oderwał się on od Rossji w 1668 roku a poddał się Turkom. Było to w pięć lat po *Czarnéj radzie*, któréj instynkt tajemniczy wytłumaczył nam tak subtelnie p. Kostomarow. Ciekawa rzecz, czy tak samo lud filozofował i wtedy gdy w zadnieprskich miastach wyrzynał wojewodów?

Wracając do rzeczy, powtarzamy że na *Czarnéj radzie* lud nie wziął żadnego udziału. Pólki kozackie, jedne wahały się między Brzuchowieckim a Somkiem, drugie stały przy Somku a Zaporożcy przy Brzuchowieckim. Przyprowadził on ich dla poparcia swego obioru i poparli też go, ale nie wolnemi głosami a kijami. Nie mogła już być lepiéj sparodjowana wolność obrady!

Przykłady, świadczące o jakiémkolwiek ogólniejszém poczuciu massy, w ogóle niewiele są warte z epoki rozprzężenia żywiołów narodowych, a taką właśnie była ta, którą nam wskazał p. Kostomarow. Lud po wojnach i mordach był ciągle jakby w stanie przepicia się i czadu i nierobił obrachunku z sumieniem ani rąk omywał ze krwi. Obałamucony intrygami, zniszczony jassyrami i wojną, gubił on widocznie i nieraz główny cel z widoku, poddawał się z kolei Rossji, Polsce, Turkom, bił się z niemi i z sobą, a w chwili otrzeźwienia się, chwytał za przywileje i błagał każdego, by go z nich nie odarto. Sam p. Kostomarow, tłumacząc naturę jego instynktu, daje miarę tego chaosu. „Czego lud nie chce? On nie chce, powiada, żeby jego towarzysz nie podlegał karze, gdy biją drugich. Jeśli biją ludzi, niech raczéj wszystkich biją zarówno!“ Ależ na Boga! jest to już okrzyk rozpaczy ślepéj, który daje miarę boleści ale nie sensu. Zdrowy rozsądek usłuchać go nie może, bo jego zadaniem jest powiedzieć: Gdy nie biją jednego, niechże nie biją i reszty! gdy prawo służy dla kilku, niech że służy raczéj dla wszystkich. Któż z trzeźwym poglądem powie, że kodeks p. Kostomarowa naprawi zły stan rzeczy? Zmieni tylko charakter bezprawia, ale go nie uchyli. Mamże przypominać p. Kostomorowowi, że tak się i stało i to nie późniéj, jak we trzy lata po owéj Czarnéj radzie? Co lud mówił do bojara Brzuchowieckiego? „Wprowadzasz do nas nowe zwyczaje, mówił. Przodkowie nasi nie nosili tytułów bojarskich i dla tego niewywyższali się przed drugimi. Oni ochraniali stare swe prawa i kochali swą ojczyznę!“ A co pisał biskup Metody w posłaniu swém do ludu: „Małorusini! wołał, dopókiż będziecie posłuszni tyranowi, który depce najdroższy wasz spadek, prawa wasze, ceną krwi przodków waszych zdobyte? Kto mu dał władzę wyznaczać naczelników, a was pozbawił przywileju wybierania ich wolnemi głosami? Za co on dowolnie karze starszyznę, obciąża kajdanami i wysyła do Moskwy?“ i t. d. (*).

Stąd wnosić należy, że nie musiał to być instynkt tak nieomylny, gdy trzechletniéj niewytrzymał próby.

(*Dalszy ciąg nastąpi*).

GAWĘDA NAUKOWA.

Klimatyczne warunki i główna ich przyczyna.— Powiększanie się ciepła w miarę zagłębiania się w łono ziemi.—O słońcu i plamach na niém.—Rachunek czasu, nowy i stary styl.—Strefa gorąca i jéj własności.—Wiatry passatne i Mussony.—Strefy umiarkowane.—Strefy chłodne.—Lody przybiegunowe.—Podróże ku biegunowi północnemu.—Frobisher.—Hudson.—Bering.—Ross.—Frankliu.—Poszukiwanie Franklina.—Kane.—Odkrycie przejścia północnego.—Podróże ku biegunowi południowemu. Cook.—Weddel.—Biscoe.—James Rass.—Wygórowane upały i zbytnie zimna.—Wpływ gór na klimat.— Wyżyny Andow amerykańskich.—Granica wiecznych śniegów.—Lodowiny.

Na utworzenie klimatu wpływa wiele warunków, z których najgłówniejszemi są: średnia temperatura roku i por rocznych, każdéj osobno; rozkład deszczów, stan powietrzni i panujące wiatry, o których jużeśmy mówili w pierwszéj gawędzie. Dla otrzymania średniéj temperatury np. lata dostrzegają temperaturę w dzień w pewnych godzinach przez całe lato i summę stąd powstałą dzielą na ilość dostrzeżeń czynionych, a wypadek będzie średnią temperaturą lata. Tak samo się otrzymuje średnia temperatura dnia, zimy, roku, i t. d.

Jedyném źródłem ciepła, jakie ziemia otrzymuje, jest słońce; wewnętrzne zaś ciepło ziemi wcale tu nie ma wpływu. I rzeczywiście zajrzyjmy w łono naszéj matki ziemi.

Człowiek, nie mogąc pojąć, wynaleźć przyczyny dla jakiego zjawiska w naturze, rzuca się do dowolnego jego objaśnienia, często niemającego żadnéj racjonalnéj podstawy; aby tylko zadowolnić niespokojny, ciekawy swój umysł, aby odpowiedzieć na wieczne jego zapytanie: dla czego? Próżne usiłowanie! na tém polu nieustannéj walki niema ostatecznego rozwiązania; umysł znajdzie je li tylko na łonie Stwórcy,gdy się wyrwie z ciasnego swego więzienia. Ileż nie utworzono sobie teoryj często dziwacznych, aby wyjaśnić formę ziemi i jéj powstanie. Sławny Haley utrzymywał, że kula ziemska, wydrążona wewnątrz, jest zamieszkałą jak i na powierzchni, a nie chcąc mieszkańców pozbawiać dobroczynnego światła, twierdził, że wnętrze ziemi jest niém obdarzone. Ale w jaki sposób? mało się o to troszczył. Dziś uczeni powszechnie utrzymują, że ziemia pierwiastkowo była roztopioną, płynną, że dopiéro z upływem czasu, w skutek stopniowego ochłodzenia, utworzyła się skorupa mniéj więcéj gruba, a nieochłodzone jeszcze wnętrze jest w stanie najwyższego rozpalenia. Myśl tę popierają czynne wulkany, wyrzucające z łona swego płynną lawę; źródła ciepłéj często nawet wrzącéj wody, wytryskające z łona ziemi, artezyjskie studnie, i ciepło wnętrznych warstw w ziemi.

Temperatura źródeł wcale nie zależy od szerokości geograficznéj. Napotykamy często ciepłe wody w okolicach pod-biegunowych, a zimne w krajach gorących. Przyroda, wiedziona czułością macierzyńską, rozrzuciła po caléj kuli ziemskiéj uzdrawiające źródła, jakby niosąc ulgę i pomoc cierpiącym swym synom. Czechy, Niemcy, Francja, a szczególniéj okolice gór Pirenejskich słynne są mnóstwem bardzo skutecznych wód; niektóre z nich widocznie muszą pochodzić z siedlisk sił wulkanicznych i mają z niemi bezpośredni związek, co jawnie okazało trzęsienie ziemi w Lisbonie 1775 r. Dało ono początek nowemu źródłu *Neris*, zmąciło wody w Toeplitz, następnie je zatamowało; lecz wkrótce wytrysnęły one z taką gwałownością, iż zalały kąpiele. Ciepło źródeł, bardzo rozmaite, zdaje się głównie zależeć od głębokości warstw, z których pochodzą. Szprudel w Karlsbadzie wyrzuca z szumem massę prawie wrzącéj wody do wysokości od szesciu do dziewięciu stop, która, opadając, tworzy prześliczne kryształowe gałęzie, słupy, sklepienia. Część téj wody używa się dla przygotowania soli Karlsbadzkiéj, reszta pokrywa ogromną na około przestrzeń, zostawując na niéj wapienną krystaliczną powłokę. Spotykamy wrzące wody na Kaukazie, w Syberji i w wielu innych miejscach. Lecz jakie źródło może się porównać z zadziwiającém swą wspaniałością i ogromem źródłem Geyzer na wyspie Islandji. Geyzer składa się z trzech źródeł, zajmujących kotlinę o 72 stop głębokości i 184 średnicy. Temperatura głębi kotliny przewyższa ciepło wody wrzącéj. Wybuchy nie są nieustanne, lecz często po razy kilka powtarzają się na minutę. Wspaniały, zadziwiający widok przedstawiają dla oka podróżnego te ogromne kolumny wody ciągle wrzącéj, te kłęby dymu, wznoszące się do nadzwyczajnéj wysokości, w towarzystwie głuchego, ponurego huku podziemnego. Ciekawém jest zjawiskiem, że temperatura źródeł prawie jest stałą i w różnych porach roku zaledwo na 1 stopień, najwięcéj na 2 się zmienia. W naszych okolicach temperatura najwyższa źródeł jest we wrześniu, najniższa zaś w marcu; a to z przyczyny bardzo powolnego przenikania ciepła słonecznego w głąb ziemi: co tak jawnie widzimy z doświadczeń czynionych w piwnicach, w kopalniach i w artezyjskich studniach. One okazały, że w miarę zagłębiania się w ziemię temperatura się powiększa, lecz przy 93 do 95 stopach jest stałą w ciągu roku i nie zmienia się ani w skutek silnych mrozów, ani też wielkich upałów. W warstwach, leżących na 25 stop w ziemi, różnica temperatury najwyższéj i najniższéj nie przechodzi jednego stopnia i jest w odwrótnym stosunku z temperaturą powietrzni; to jest największe ciepło przypada pierwszego stycznia, a najmniéjsze w końcu czerwca. Daléj doświadczenia okazały, iż mniéj więcéj na każde 50 do 100 stop w głąb temperatura się podnosi o jeden stopień. W głębi więc na 9,850 stop woda powinna być w stanie wrzącym. A według Humboldta na $5\frac{1}{2}$ mil geograf. pod powierzchnią ziemi granit nawet znajduje się w stanie płynnym.

(*) История Малороссии Бантышь-Каменскаго. II. 85.

I tak ciepło słoneczne dochodzi tylko do niezbyt głębokich warstw ziemi, a daléj ona posiada właściwe sobie ciepło, które niema wpływu na zwierzchnie warstwy, jakkolwiek jest znaczne w głębi ziemi,—a więc i na utworzenie klimatu. Kiedy planeta nasza była jeszcze w roztopionym stanie, powierzchnia jéj bystro się oziębiała, lecz skoro się utworzyła twarda skorupa z tak słabą zdolnością przepuszczania ciepła, dalsze oziębianie przez promieniowanie wnętrznego ciepła w bezmierną przestrzeń wszechświata musi się odbywać bardzo zwolna i wynagradza się przez ciepło, jakie ziemia otrzymuje od słońca. Takie jest zdanie większéj liczby uczonych badaczy. Utrzymują oni, że gdyby ziemia nieustannie się ochładzała, musiałaby jak każde ciało tracąc cieplik ściskać się, zmniejszać; coby koniecznie przyśpieszyło obrót jéj około osi, skróciłoby długość dnia, czego jednak od najdawniejszych czasów wcale nie zauważano. Źródłem więc ciepła jakie czujemy na ziemi, a tém samém przyczyną różnic klimatu jest jedynie słońce. Pod jego li tylko dobroczynnym wpływem śniegi topnieją, łąki, pola i lasy pokrywają się zielonością. Bez niego mróz 100 stopni, a może i tęższy byłby wiecznym udziałem martwéj ziemi, na któréjby wszelkie życie ustało, żadna pieśń dziękczynna nie wznosiłaby się ku chwale Stwórcy. Cóż więc dziwnego, że człowiek, będąc jeszcze w kolebce, oddawał cześć boską słońcu, kłaniał mu się jako dawcy życia i szczęścia;—że od niepamiętnych czasów ludzie myślący dociekali jego natury.

(*Dalszy ciąg nastąpi*).

PRZEGLĄD PISM CZASOWYCH.

Gazeta Warszawska (do 269):

— Korespondencja ze Lwowa podejmuje kwestję zbytku; rzecz cała prowadzona wybornie, osądzona wielostronnie i bez ogródek, odkrywa oczy rodakom w Galicji, którzy otworzystemi bramami wypuszczając mienie, w téjże chwili dają wolny wstęp napływowi obcych, nieprzyjaznych naszemu plemieniu. W ogólności mówiąc, listy ze Lwowa pod głoską *x* są raczéj obszernemi traktatami moralnemi o najgorętszych zagadnieniach społecznych, aniżeli zwyczajnemi korespondencjami gazeciarskiemi, i dla tego nie sposób je streszczać bez wystawienia na zepsucie. Ograniczymy się tedy na przytoczeniu kilku myśli: «Uznajemy wszyscy, że manja zbytkowania, będąca wynikiem śmiesznéj próżności, naraża nas i kraj cały na zgubne następstwa; dla czegoż wyczekuje każdy dopokąd ktoś drugi nieda mu przykładu rozsądnéj oszczędności, a sam od siebie naprawy niezaczyna? Od dawna słychać u nas o jakichś projektach zawiązywania towarzystwa wstrzemięźliwości od zbytków; a mimo tego idzie wszystko po staremu, choć ciężkie czasy i brak zasobów, wzrastający z dniem każdym, powinny by nas przekonać, że dłuższe wyczekiwanie i zwłoki kłopotliwość położenia naszego coraz bardziéj zwiększają. Brak odwagi w zrobieniu piérwszego kroku i wstyd fałszywy przeszkadza urzeczywistnieniu tak zbawiennego na dziś projektu wstrzemięźliwości od zbytków, Ten zasłużyłby sobie na największą wdzięczność, ktoby umiał nakłonić współobywateli do téj wstrzemięźliwości: ponieważ odpadłoby jedno z głównych źródeł, które tyle złego w społeczność naszę naniosły. Gdy ten krok będzie uczyniony, okażą się niewątpliwie i to niebawem zbawienne skutki. Niedość atoli związać się w towarzystwo przeciw-zbytkowe, trzeba w dodatku pracować nad tém, aby wzrastające pokolenie niewpadło w tę zgubną chorobę, która najżywotniejsze soki narodu wysusza, a tém samém w obojętność go i otrętwienie nieczułości wprawia»...

— W czasie otwarcia Akademji medycznéj, w Warszawie, p. Lesiński professor Chemji uwiadomił, że z polecenia władzy wysadzony został komitet w celu położenia końca zamieszaniu, będącemu skutkiem babilońskiéj terminologji chemicznéj polskiéj. Komitet ten, ułożywszy słownictwo chemiczne, wyznaczył autora do napisania dzieła chemji organicznéj, mającego służyć za przewodnik do wykładu po szkołach i gimnazjach. W tém dziele zostanie użyte nowe słownictwo, które tym sposobem mając powagę naukową, zyskawszy moc urzędową, może też w końcu się ostoi. Życzymy tego z całéj duszy, bo przez to położonyby przecię został kres dziwactwu piszących, którzy lichéj nawet broszury niemogli dotąd wydać bez wymyślenia nowego języka!

— Dnia 5 (17) bież. października spalono na placu przy sali giełdowéj w Warszawie biletów bankowych zużytych i z obiegu wycofanych, oraz różnych papierów pożyczkowych spłaconych, na summę 1,734,179 rs. 55 kop.

— Powtórzyliśmy już byli, idąc za jedną z gazet warszawskich wiadomość o książce p. t. «Kilka rysów i pamiątek» E. Hellenjusa. Obecnie G. W. dała o tém dziełku sprawozdanie. Autor Jezuitom, ich wpływowi i wychowaniu przypisuje wszystko, co było dobrego w dawnéj Polsce, a ich przeciwnikom skarłowacenie ducha publicznego! Dostało się tu dobrze Konarskiemu za jego reformy, a Trentowski żywcem wysłany do piekła; nikomu nie uszło na sucho, prócz jednego Rychcickiego: „hunc ego non alio dictum prius ore, Latinis vulgari fidicen...“

— W Warszawie wyszła: „Fantazyjna podróż po wszechświecie,“ która stanowi 11-ty tom Bibljoteki popularnéj nauk przyrodzonych A. Bernstejna. Treść téj podróży stanowi astronomja w szkicach ożywionych fantazją poetyczną i w ogóle ponętnym wykładem.

— W szpitalu św. Ducha w Warszawie, urządzony został oddział leczénia wodą zimną. Takiż oddział urządzony pierwiéj w Moskwie przy lazarecie wojskowym, okazał pożyteczne rezultaty téj prostéj i niekosztownéj kuracji.

KORESPONDENCJA KURYERA WILEŃSKIEGO.

Żytomierz, *24 września 1860 r.*

Pośród powszechnego niedostatku brzęczącéj gotówki, korrespondent Gazety Warszawskiéj z Żytomierza, przybiega w pomoc naszemu strapieniu, popisując się wiadomością, że nie daléj jak o cztery mile od rogatek naszego miasta, p. *Piotr Kopczyński*, wynalazł kopalnie złota!... Dziwić się przychodzi niepomału, że Gazeta Warszawska, stawiająca się niedawno jeszcze na czele naszego dziennikarstwa, odważa się przydawać powagę druku lada farsie, i polega na sprawozdaniach pierwszego lepszego nowiniarza, który mógłby donieść z kolei, że zamorscy jacyś spekulanci, wzięli *spust* Czarnego morza, lub, że w Teterowie, koło berkowego młyna, poławiają się wieloryby!— Niegodzi się przynajmniéj redakcjom pism perjodycznych nie znać do tyla swojéj ziemi, żeby puszczać śmieszne jakieś bajeczki z tysiąca nocy.

Nie sądzimy też, żeby czytelnicy Gazety Warszawskiéj, podzielali łatwowierność korespondenta i redakcji. Lękamy się raczéj, żeby zbyt surowo nieosądzili okolicy, za błąd jéj sprawozdawcy. Pośpieszamy więc zawiadomić, że p. Kopczyński, znany chemik i technolog, znalazł rzeczywiście obfite w około Żytomierza pokłady — ale nie złota, a tylko żelaza — szczególniéj we wsi Bobrzyce, majętności p. Załęskiego. O kopalniach zaś złota, jak sam nas upewniał, dowiedział się dopiéro z Gazety Warszawskiéj, od *nieznanego* sobie korespondenta.

Przypuszczać więc chyba potrzeba, że filantropiczny korespondent, wiadomością o tych imaginacyjnych kopalniach, chciał tylko działać na zneutralizowanie przemysłu wekslarzy. Od niejakiego bowiem czasu, zmiana pieniędzy, nie tylko na srebro, ale nawet na drobne assygnaty, podniosła się u nas znowu do olbrzymich rozmiarów. Płacimy za zmianę po 4 i pół kopiejki od rubla; a nawet w sklepach, a szczególniéj w jatkach, kupując produkt trzeba strącać po 2 i pół kopiejki za zmianę. Słowem, tajemna jakaś spekulacja pochłania wszelkie złoto i srebro — a pieniądze nowego stępla, raz puszczone w obieg, niewróciły już do rąk prywatnych, i zaledwo kto z nas miał je w ręku. Drobne nawet assygnaty, perjodycznie giną z obiegu, i ukazują się potém nie inaczéj, jak cząstkowo i za okup drogiéj zmiany.

Mniéj pomyślnie udało się jednemu z zagranicznych oszustów, który bitym szlakiem swoich współkrajowców, przywędrował do nas z Prus, w celu eksploatacji na wielką skalę. Jest to niejaki ***Ernest Bruno Walter***, zaopatrzony kontraktami i dyplomami księcia ***Rudolfa Turn und Taxis***. Dokumenty te świadczą, że pan E. B. Walter, za cenę kilku tysięcy talarów rocznie, rządzić miał dobrami księcia,— i że z wielkim żalem rozstając się z nim, wyraża mu swoję wdzięczność naznaczając dożywotnéj emerytury po półtora tysiąca talarów! Powód zaś tego rozstania, był ten, że uczony syn Germanji, pożądał udać się na ziemie słowiańskie, dla wytępienia szarańczy, posiada bowiem ten sekret.... A wiecie jaki? Najprostszy, jak tylko być może... Oto przyrzeka, wiadomym sobie sposobem, bez pośrednictwa kwoczek, wylęgnąć miljony miljonów kurcząt, i nieprzeliczone a głodne te stada, puścić ma dla pożarcia szarańczy... Pytam, czy może być co prostszego i łatwiejszego, a przecię żaden Słowianin nie wpadł na myśl podobną?.. Niezapomnijmy jeszcze, że w dodatek mieć będziemy tłuste pieczyste, za które dobroczynny Niemiec zapewnie każe osobno płacić sobie!.... Lecz cóż powiecie? Dobroczynny ten i uczony wynalazca, przywlókł się z Warszawy do Żytomierza z żydem bałagułą, któremu nie miał czém zapłacić! Mój Boże! jak to ten podły kruszec, niechodzi razem z rozumem! Lecz, nie koniec historji; wędrowny szarlatan, zawiedziony na prywatnéj i urzędowéj drodze wybiegów, dopytał się tu do jednego z fabrycznych zakładów, gdzie znalazł kilku swoich ziomków; a zdoławszy w nich wmówić wielkość swego przedsiębierstwa, wymógł na nich pożyczkę, 15 rub. srebr. dając im w zastawę podróżne swoje tłómoki. Biedni fabrykanci, wypłacili mu przyrzeczoną summę, i usatysfakcjonowany bałaguła, wniosł do stancyjki, dwie walizki dość ciężkie, oszyte ceratą i opieczętowane. Lecz podczas, gdy w najlepsze traktowano kawą uczonego wędrowca, jednemu z udzielających kredyt, przyszło szczęśliwie na myśl, czyli te tłomoki, nie zawierają w sobie kontrabandy, za którą depozytorowie mogliby odpowiadać? Proszono więc gościa, żeby je otworzył i przejrzeć pozwolił. Gdy zaś zmieszany wzbraniał się i tłumaczył niepodobieństwem otworzenia pakunków, rozcięto sznury, rozłamano pieczęcie — i... nieznaleziono w nich nic, oprócz słomy i kilku cegiel owiniętych papierem dla ciężaru.... Skompromitowani Niemcy, stratą pieniędzy i charakterem swego ziomka, zatrzymali u siebie mniemane dyploma, które mieliśmy w ręku, dziwiąc się niepomału że książę ***Turn und Taxis***, pracowicie napisał własnoręcznie około czterech arkuszy, i raz podpisywał się ***Prinz*** a drugi raz ***Erbprinz***, i w tym ostatnim podpisie, literę b poprawił z jakiejś innéj, a literę p całkiem opuścił — pieczętuje się zaś zawsze małym sygnetem, na laku dość pośledniego gatunku. Kommunikujemy ten szczegół, bo uczony E. B. Walter wyruszył ku Kijowowi, i chociaż certyfikaty Ks. *Turn und-Taxis* zostawił, może jednak inne mieć w zapasie, w których nie będzie już o wysokiéj emeryturze i honorarjum z kilku tysięcy talarów, pobieraném przy zarządzie dóbr książęcych, co trąci niepodobieństwem obok chudzizny znakomitego agronoma i technologa.

Z rzeczy miejscowych, niemamy prawie nic do doniesienia; koncertów i publicznych zabaw dotąd żadnych, teatr nawiedzany jest bardzo mało, o nowych wydaniach tutejszych nakładców, musicie wiedzieć z księgarskich ogłoszeń;— w ogóle zaś, życie naszego miasteczka cyrkuluje w tym czasie cicho i powolnie.

Wojtek.

Białystok, $^{2}/_{14}$ *Października.*

Jazda koleją do Białegostoku. — Wstrzemięźliwość. — Jeźdźcy konni.

Czytaliśmy w N. 75, że d. 9 września na kolei żelaznéj petersbursko - warszawskiéj odbyto próbę jazdy lokomotywą od strony Warszawy

aż nad Narew pod wieś Uhowo." Próba udała się wybornie bo 17 tegoż miesiąca powitaliśmy już dwie lokomotywy w Białymstoku, z których piérwsza przywiozła nam gości z Warszawy we czterech ogromnych wagonach, a druga potrzebne materjały do robót na kolei. We dni trzy znowu dwa pociągi przybyły z Warszawy i odtąd co dni kilka podobne się kursa stale odbywają. A więc nietylko Wilno ale i nasz Białystok, jeśli nieformalne zaślubiny, to przynajmniéj już zaręczyny, zawarł z Europą.

Tłumy ciekawych za każdą razą oblegają drogę żelazną. Niemożna nawet podziwiać takiéj ciekawości, bo i ten postęp wynalazków wieku naszego, i dziwna dla ludu podróż bez pomocy koni, i ta łatwość stosunków z wielkiemi miastami, która jednych cieszy, drugich zatrważa; wszystko to pędzi mimowoli, aby się przypatrzyć, już w skutek zamienionym oczekiwaniom. Ileż to się tam nasłuchać można rozlicznych zdań: o korzyściach i szkodach, koleją mających przybyć do Białegostoku i na całą potém rozbiedz się okolicę! Jedni widzą wzrost miasta i już wskazują tę ogromną przestrzeń, na któréj się ma rozbudować. Drudzy przepowiadają upadek i ubóstwo dla rzemieślników, a mianowicie dla krawców, stolarzy i szewców. Tamci widzą, jak zepsucie siłą pary przyjedzie z zachodu i rozrodzą się między nami niesłychane występki niewiary i rozpusty. Tych zaś ostatnich przeciwnicy rozumują potężnie za wpływem oświaty łatwiejszym, za wypadkami na korzyść wiary i moralności, dowodząc, że się musi zetrzeć i do walki wystąpić złe i dobre przybywające z cudzoziemszczyzny, że prawda koniecznie tryumf odniesie, że poznamy złe niesłychane, ale staną i przykłady cnoty u nas niewidziane. Co do nas, wolimy uwierzyć tym ostatnim; a jakkolwiek zepsuta przyroda człowieka prędzéj lgnie do złego, nie można ani na chwilę zwątpić, że i dobre ziarnko, obficiéj na dobrą rolę serc rzucone, przyniesie swoje plony zbawienne. Jest u nas wprawdzie wiele wad, ale, na zaletę naszą, już to jest niezaprzeczone: że zachwiać wiarę od pradziadów w puściźnie nam zostawioną, że zepsucie zamienić w charakterystykę jakiego miasta a bardziéj całéj okolicy, że zatrzeć podania dawnych obyczajów,— tego niezdołały dokazać dawne usiłowania, niemamy się lękać tego, tém bardziéj teraz. Dawniéj przynoszono nam trucizną zarażony pokarm i mówiono, że to strawa wszystkich ludów oświeconych, że jest im bardzo z tém dobrze. Większa część nie mogła nawet tego sprawdzić, a jednak mało się znalazło śmiałków, co odważyli się wziąć zatruty pokarm. Dziś oszukać tak się nieuda; kto zechce i potrafi, łatwo się przekona: w czém leży prawdziwa zaleta człowieka, czy w nowostkach fałszywym blaskiem łudzących, czy w staréj nauce ewangieliczněj, rozumianéj po staremu, i stwierdzonéj ofiarą życia ludzi mądrych, zacnych i świątobliwych?— Precz odganiajmy te postrachy! a myślmy raczéj jakie pożytki, moralne i materjalne, trzeba nam dla kraju przysposobić, kiedy Opatrzność podaje nam do tego środki ułatwiające.

Zacny korrespondent Kuryera, udzielił nam wiadomości w N. 76 *o rozszerzaniu pijaństwa* w gubernji Grodzieńskiéj. Słuszne były obawy poczciwego obywatela kraju, aby lud dziś szczęśliwy, trwając w trzeźwości, nie obłąkał się i w swoim upadku powtórnym nie zginął bez powstania. Sprawiedliwa też uwaga, że drugi raz podnieść ten lud do téj potęgi duchowéj, do jakiéj go Bóg sam podniósł przez posługę kapłanów, będzie trudniéj. Na ten raz jednak donosimy na pociechę dusz prawych i pojmujących szczęście społeczne, że te usiłowania rozwiały się na cztéry wiatry, wywołały nawet nie w jednem miejscu wiele scen śmiesznych bo lud dotykalnie z dnia na dzień jaśniéj widzi: jak się mu lepiéj dzieje, na majątku, na sławie, w pokoju domowego pożycia i w sumieniu. Duchowieństwo wprawdzie niezasypiało, silnie oddziaływać poczęło; ale i w tym razie, wybitniéj się wyrażała jakaś tajemna siła łaski Boga, niżli te starania dusz pasterzy. Nie dla tego mówimy o cudownéj bożéj pomocy, abyśmy uważali za niepotrzebne prace kapłanów w tym względzie; owszem przez to chcemy zachęcić do śmielszego działania, bo to jest wyraźnie dzieło boże, do jakiego są wszyscy duchowni powołani.

Od trzech tygodni bawią naszą publiczność: skoczek na linie p. *Fiondini* i kompanja jeźdźców konnych pod przewodnictwem p. *Waltera*. Co rozumieć o tego rodzaju zabawach? trudno określić. Może to nieco orzeźwia widzów, może rozbudza ducha do czynu, widząc tę zręczność i śmiałość; nam się z tém wszystkiem wydaje, że takie rzemiosło strasznie poniża godność człowieka, kiedy dla marnego grosza, bawiąc swoich braci, poświęca się na kalectwo nieuchronne, a niekiedy i na śmierć niechwalebną. Tak ryzykownego poświęcania życia bez celu nie można liczyć do postępu cywilizacji naszych społeczeństw. Gdyby tu jeszcze były zabezpieczone wszelkie ostróżności, byłaby to rzecz mająca pewną wartość, ale na nieszczęście, ludzie wszędzie szukają effektu, chciwi są wrażeń okrutnych! To dowodzi braku czystéj ewangieliczněj miłości, ale musi się kiedyś odmienić i złagodzić. Wszakże po kilkadziesiąt tysięcy widzow, niegdyś z rozkoszą patrzyło na zapasy lwów i tygrysów z ludźmi, a Rzymianie głodni wołali „*Panem et circenses*; dzisiaj zaś, na samo wspomnienie wzdrygamy się i dreszcz nas przenika. Przyjść też musi i temu koniec: kiedy z postępem czasu obudzi się u nas uczucie prawdziwego piękna. *Pepi X.*

Ryga, *25 września.*

Siemienia lnianego przywieziono dotąd tylko 6,100 tonn zdatnego na zasiew i 8,000 tonn przeznaczonego na oléj; dowód, iż urodzaj tegoroczny niebył zadawalniającym. Umów w tym przedmiocie dotąd zawarto ledwie na 1,000 tonn; za siemię pośrednie płacą od 10 rub. 25 k. do 50 k. na wrzesień i połowę października, za dobre od 11 rub. 25 k. do 50 k. Z lnem i pieńką niewiele było ruchu i płacono jak uprzednio. Obróty ze zbożem nieco się ożywiły; przewiezione z Kurlandji szybko zostało rozchwytane. Żyto na termin sprzedaje się dość powoli; widujemy ochotników do kupowania po 91 rs. z czwartą częścią zadatku za 116, 117 f., lecz domagają się 1 rs. drożéj i sprzedających niewielu daje się widzieć. Owsa na rynku całkiem prawie niema; na dostawę w maju kupiono 1,000 łasztów po 73 rs. za 73 f. z opłatą z góry; sprzedajacych bardzo mało. Cena na sól stale utrzymuje się wysoko. Sledzi nowych transportów nieprzybyło; sprzedaż jesienna z dniem każdym wzrasta, i ceny przeto są korzystniejsze.

ROZMAITOŚCI.

— W jedym z dzienników angielskich, umieszczono niedawno ciekawy, z notat samego Macaulay'a, wyczerpnięty artykuł o tém, jak ów znamienity dziejopis Anglji, którego zwłoki ze czcią publiczną, narodową, złożono w opactwie westminsterskiém, używał swego czasu za młodu, podczas wakacji uniwersyteckich w Cambridge. Udawał się zwykle do któregokolwiek z hrabstw, i całe pieszo obchodził. To nam tłumaczy, dla czego tak się mu wcześnie udało zebrać tyle od prostego ludu czysto miejscowych wiadomości. Legendy, ballady i pieśni Anglji północnéj, tak szczegółowie umiał, że przez to najbieglejszych wspomnionego przedmiotu znawców zdumiewał.

— Z powodu znacznego wyludnienia Krymu przez wyniesienie się Tatarów, rolnictwo tameczne i przemysł solny znajduje się w kłopotliwém położeniu. Chcąc temu zaradzić, obywatele gubernji Tauryckiéj na zjeździe w Symferopolu, uradzili prawie jednogłośnie założenie Tauryckiego banku ziemskiego, opierając go na własnych funduszach ziemian. Programat czynności tego banku ze wszech miar godzien uwagi: 1) zaliczanie pożyczek na czas długi ze stopniową amortyzacją, kapitału zabezpieczonego na własności ziemskiéj, jak to czyni towarzystwo kredytowe Królestwa Polskiego; 2) udzielanie kupcom na czas krótki kapitałów potrzebnych na chwilowe obróty handlowe; wreszcie 3) niesienie pomocy rzemieślnikom i ludności wiejskiéj, pożyczaniem drobnych kapitalików dla wydźwignięcia zostających w ciężkiém położeniu. Rząd ze swéj strony, chcąc przyjść w pomoc wyludnionym okolicom, porozumiawszy się z ziemianami, zezwolił na przenoszenie się włościan skarbowych do gubernji Taurycktéj ze stron przeciążonych ludnością. Przenoszenie włościan może nastąpić tylko za ich dobrowolną zgodą; nadto włościanie otrzymują pewne ulgi, i osiadają na gruncie właściciela ziemskiego tylko w moc zawartego z nim kontraktu na czas od lat 2 do 8.

— P. Michał Wolski, mieszkający w Żytomierzu, wynalazł (jak donosi „Telegr. Kijowski") sposób leczenia zabójczéj choroby bydlęcéj zwanéj dżumą (typhus contag bovum). Pigułki przezeń robione, w wielu majątkach obywatelskich na Wołyniu miały bardzo zbawiennie oddziaływać przeciwko strasznemu nieprzyjacielowi bydląt. Lecz zabiegi niektórych urzędowych weterynarzy dokazały (jak donosi tenże Telegr.), iż p. Wolskiemu wzbroniono nadal nieść swą pomoc zagrożonym klęską obywatelom, dla tego, iż niejest patentowanym lekarzem. Jeśli jedno i drugie jest prawdą szczerą, nam się zdaje, iż p. Wolski ma otwartą drogę dać wyprobować urzędowie swój sposób; a w razie doznanéj jego skuteczności, niepodobna, iżby wyższa zwierzchność lekarska odmówiła swego zatwierdzenia.

— Robione doświadczenia okazały, że śledzie przejęte zgnilizną, które dotąd po wybrakowaniu w portach zakopywano do ziemi, iżby nie były sprzedawane, — mogą być korzystnie użyte za nawóz, a jednak dodaniem niegaszonego wapna tak przerobione, iż żadną miarą niebędą mogły używać się na pokarm. W skutek tego, władze miejscowe w Rydze, po wybrakowaniu zgniłych śledzi, zmieszaniu ich z wąpnem w obecności urzędnika i przetrzymaniu na komorze najmniéj przez dni dwa, zarządzać będą sprzedaż tego środka użyźniania roli.

— W „Kurjerze Warszawskim" znajdujemy następujące, zaprawdę osobliwsze doniesienie: „W roku 1840, z jednego z domów przy ulicy Marszałkowskiéj, oddaną była na wychowanie córeczka, za którą rodzice jéj jak najregularniéj przez rok cały opłacali. Gdy zaś po roku zgłosili się po odbiór dziecięcia, karmiąca je mamka miała im oświadczyć, jak to obecnie wyznała, iż dziecko to umarło. Tym sposobem nastąpił zupełny rozdział pomiędzy rodzicami a ich córką, która dziś dobiegłszy lat 20, pozostaje sierotą. O ile jeszcze z opowiadania mamki dowiedzieć się mogła, to początkowo była chowaną przez nię na wsi, i że ojciec jéj miał być podobno urzędnikiem. Dla tego obecnie za pośrednictwem niniejszego pisma, odwołuje się do serca rodzicielskiego, gdyż niepodobna, ażeby podane tu fakta, nie nasunęły w ich pamięci tego wypadku, i nie obudziły litości nad własném dzieckiem, które przez złą wiarę mamki utracili. Bliższą wiadomość o obecnym pobycie odwołującéj się, można powziąć w Redakcji „Kurjera Warszawskiego".

— Henryk Ward wynalazł maszynę do wygniatania olejów i innych płynów z ciał organicznych. Rossyjskie ministerjum skarbu wydało mu 10-letni przywiléj.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Słyszeliśmy, że w przeciągu bieżącego miesiąca, będzie przedstawiony po raz pierwszy w Wilnie drammat Majeranowskiego pod tytułem: Córka Miecznika czyli Domy Polskie w 17 wieku.

Prace dramatyczne Majeranowskiego, pomiędzy któremi szczególną zwracają na siebie uwagę Urszula Mejerin i Córka Miecznika, prawie zupełnie są u nas nieznane; po śmierci autora, który je pisał dla sceny Krakowskiéj, rękopisma, rozproszone po rozmaitych rękach dotąd nie mogły być drukiem ogłoszone.

Mamy nadzieję, że znany u nas chlubnie artysta malarz p. Władysław Majeranowski, przez wzgląd na dobro literatury krajowéj, zechce się zająć zebraniem wszystkich dramatów po ojcu pozostałych, i drukiem je ogłosi.

Liczymy na to, że dyrekcja Wileńskiego teatru, dołoży starań, by Córka Miecznika, godnie była przedstawioną na scenie naszéj.

— P. Józef Bejzym, marszałek powiatowy w gub. Wołyńskiéj, zamierzył w majętności swéj Bejzymach otworzyć pole do praktyki w kształceniu się na ekonomów wiejskich. W tym celu przeznacza 40 morgów dobréj ziemi, wszelkie narzędzia gospodarcze i odpowiedni potrzebie inwentarz. To wszystko ma zostawać pod kierunkiem zdolnego, opatrzonego w dowody kwalifikacji agronoma, dla którego p. Bejzym 150 rs. rocznie i dom mieszkalny z ogrodem warzywnym przeznacza. Nieznamy bliżéj szczegółów, i dla tego nic stanowczo o tém przedsięwzięciu na dzisiaj powiedzieć niemożemy.

— Nakładem księgarni Leona Idzikowskiego w Kijowie wyszło dzieło Lacordair'a p. t. „O społeczności katolickiéj;" przekładu dokonał p. A. Nowosielski.

— Tamże w Kijowie otwarto nową prywatną pensję dla młodzieży płci obojéj. Ogłoszenie zapowiada, iż wykład w téj szkole będzie obrazowy, unaoczniający uczniom przedmioty.

— Pismo perjodyczne petersburskie, p. n. Ruskie Słowo, w tegorocznym zeszycie lipcowym, azmieściło przekład T. Millera całego **Wallenroda**. Niektóre miejsca wierne i udatne, ale ogół słaby i nieoddaje całéj potęgi i wielkości oryginału.

— Kazimierz Bujnicki napisał powieść dwutomową p. n. Biórko, rzecz dzieje się w Wilnie przy końcu zeszłego wieku. Wkrótce ta powieść ma się ogłosić drukiem.

— Przekład pamiętników ś. p. Józefa Franka już rozpoczęty. Poprzedzi go wstęp tłumacza.

ODPOWIEDZI KURYERA WILEŃSKIEGO.

P. J. L. w K. Co do terminu, tak jest, i tego już zmienić nie można. Prosilibyśmy o przyśpieszenie wszystkich 3 rozpoczętych prac. Nam by się zdawało, że jedno drugiemu nieprzeszkadza: wszakże przekład z franc. nie tak rychło potrzebny. Co do książek zgoda.

TEATR

W Niedzielę 16 października DALILA.

КАЗЕННЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

1. Отъ Виленскаго Приказа Общественнаго Призрѣнія объявляется, что для выручки недоимки продовольственной ссуды, согласно постановленію 20 сентября сего года состоявшемуся, будетъ производиться въ присутствіи онаго торгъ 12 января 1861 года съ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою на продажу имѣнія Недзведзева, помѣщиковъ Дисненскаго уѣзда Николая и Осипа Бартошевичей, съ 15 мужескаго пола душами, 140 десятинами земли, и всѣми къ оному принадлежностями, оцѣненнаго по десятилѣтней сложности дохода въ 1550 р. сер. А потому желающіе участвовать, благоволятъ явиться къ означеннымъ торгамъ съ благонадежными залогами въ приказъ, гдѣ могутъ видѣть и предъ наступленіемъ сроковъ торговъ относящіеся къ тому имѣнію документы. Октября 4 дня 1860 года.

И. д. Непремѣннаго Члена *Нагловскій*.
Столоначальникъ *Ковалевскій*. (623)

1. Дѣйствительный статскій совѣтникъ камергеръ князь Иреній Михаиловичъ Огинскій отправляется за границу.

Кол. асс. *Зубовичъ*. (641)

3. Отъ Гродненской палаты государственныхъ имуществъ объявляется, что назначенные въ присутствіи ея торги 10 октября, на отдачу въ содержаніе фермъ, о коихъ припечатано въ добавленіяхъ Виленскаго Вѣстника къ NN. 68, 69 и 70; отложены на 22 будущаго ноября, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою. Посему благоволятъ желающіе прибыть ко вновь назначеннымъ торгамъ, кои будутъ производиться на тѣхъ условіяхъ, какія уже напечатаны въ помянутыхъ NN. Вѣстника. (621)

2. Дочь статскаго совѣтника Баронесса дѣвица Софія Васильева Россильонъ отправляется за границу.

Кол. ассес. *Зубовичъ*. (627)

OGŁOSZENIA SKARBOWE.

1. Wileński Urząd Powszechnego opatrzenia ogłasza, iż dla wyręczenia zaległości pożyczki na wyżywienie, stosownie do postanowienia w dniu 20 września roku ter. nastałego, będą się w nim odbywały dnia 12 stycznia 1861 roku targi od 11 godziny zrana, ze zwykłym we trzy dni przetargiem, na przedaż majątku Niedźwiedziewa obywateli Dziśnieńskiego powiatu Mikołaja i Józefa Bartoszewiczów. z 15 duszami płci męzkiéj, ze 140 dziesięcinami ziemi i ze wszelkiemi przynależytościami, oceniony w stosunku dochodu dziesięcioletniego 1550 r. sr.; przeto życzący uczestniczyć, zechcą przybyć na te targi z pewnemi ewikcjami do urzędu powszechnego opatrzenia, gdzie i przed nadejściem terminu targów można widzieć tyczące się tego majątku dokumenty. Dnia 4 października 1860 roku.

Peł. ob. Ciągłego Członka *Nagłowski*.
Nacz. stołu *Kowalewski*. (623)

1. Rzeczywisty tajny radzca kamer-junker książe Ireny Ogiński, wyjeżdża za granicę.

Ass. koll. *Zubowicz*. (641)

3. Grodzieńska izba dóbr państwa ogłasza, iż naznaczone w jéj sądowéj targi na dzień 10 października, na oddanie w dzierżawę ferm, o których obwieszczono było w dodatkach Kurjera Wileńskiego do N-ru 68, 69 i 70, odłożone zostały na dzień 22 następującego listopada, ze zwykłym we trzy dni przetargiem; przeto życzący raczą przybyć na nowoustanowione targi, które będą się odbywały na tychże warunkach, jakie w pomienionych numerach Kurjera są już wydrukowane. (621)

2. Córka radzcy stanu Baronessa panna Zofja Rossiljon wyjeżdża za granicę.

Ass. koll. *Zubowicz*. (627)

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ.

OGŁOSZENIA PRYWATNE.

ВИЛЕНСКІЙ ДНЕВНИКЪ.

Пріѣхавшіе въ Вильно, съ 10 го по 13 го октября.

ГОСТИННИЦА НИШКОВСКІЙ.

Пом.: Жуковскій. Ивановскій. г-жа Эйсмонтова. Сальмоновичъ Грегоровичъ. Болгуць. губ. секр. Стаховскій. инженеръ Свіонтецкій. чин. при жел. дор.: Домбровскій.

Въ разныхъ домахъ.

Въ д. Мышковскаго: пом. А. Жилинскій.—Въ д. Каца: отст. штабсъ-ротм. А. Ротъ. Ф. Скварчинскій.—Въ д. Фіорентини: колл. асс. Павловичъ.—Въ д. Родкевича: адъютантъ генералъ-губер. ротм. Павловъ.—Въ д. Пупкина: тит. сов. Сташевскій. пом. Марцинкевичъ.—Въ д. Апатова: поруч. Петельчицъ. пом.: Ф. Дромановскій. Л. Одынецъ. графъ В. Тышкевичъ. г-жи: Марія Ассановичева. графиня Фортуната Бржостовская. Брестскій уѣзд. предв. дворян. И. Гажичъ. А. Прозоръ. быв. Ошмянскій уѣзд. пред. двор. Иванъ Любанскій.

Выѣхали изъ Вильна, съ 10-го по 13-го октября.

Генералъ-лейтенантъ Довбышевъ.

Пом.: Кашицъ. Важинскій. ротм. Сухатинъ. ротм. Гостомиловъ. г-жи: Задарновская. Θеодосія Каминская. К. Бронецъ. М. Танаевскій. графъ А. Храповицкій. отст. ротм. Свіонтецкій. Ф. Сесицкій. О. Венцлавовичъ. князь Огинскій. графъ Чапскій. подполк. Клидцатъ. пом.: А. Корсакъ. Ф. Дромановскій. С. Шишко.

DZIENNIK WILEŃSKI.

Przyjechali do Wilna, od 10-go do 13.go października

HOTEL NISZKOWSKI.

Ob.: Żukowski. Iwanowski. pani Ejśmontowa. Salmonowicz. Hrehorowicz. Bołtuć. sekr. gub. Stachowski. inżynier Świątecki. urz. kol. żelaz. Dombrowski.

W różnych domach:

W d. Myszkowskiego: ob. A. Żyliński.—W d. Kaca: dym. sztabs-kap. A. Rot. F. Skwarczyński.—W d. Fiorentiniego: ass. koll. Pawłowicz.—W d. Rodkiewicza: adjutant jenerał-guber. rotm. Pawłow.—W d. Pupkina: radzca hon. Staszewski. ob. Marcinkiewicz.—W d. Apatowa: porucz. Petelczyc. ob. F. Dromanowski, L. Odyniec. hr. W. Tyszkiewicz. panie: Marja Assanowiczowa. hrabina Fortunata Brzostowska. Brzeski pow. marsz. J. Gażycz. Ad. Prozor. b. Oszmiań. pow. marsz. Jan Lubański,

Wyjechali z Wilna od 10 do 13 października.

Jenerał-porucznik Dowbyszew.

Ob.: Kaszyc. Ważyński. rotm.: Suchotin. Gostomiłow. panie: Zadarnowska. Teodozja Kamińska. ob. K. Broniec. M. Tanajewski. hr. Ad. Chrapowicki. dym. rotm. Świątecki. F. Siesicki. O. Wencławowicz. książe Ogiński. hr. Czapski. podpółk. Klidcat. ob. Ant. Korsak. F. Dromanowki. Stan. Szyszko.

Цѣны въ Вильнѣ на базарахъ и рынкахъ отъ 10 до 13 Октября.

	р.	к.
Ржи (прив. 150 четв.)— Żyta (przyw. 150 czet.)	7	20
Пшеницы (прив. 100 чет.—Pszenicy (przyw. 100 czet)	12	—
Ячменя (прив. 50 четв.)—Jęczmienia (przyw. 50 cz.)	5	—
Овса (прив. 100 чет).—Owsa (przyw. 100 czet.)	3	50
Гороху (прив. 20 четв.)—Grochu (przyw. 20 czet.)	6	50
Гречихи (прив. 30 четв.) — Gryki (przyw. 30 czet.)	4	—

Ceny w Wilnie na targach i rynkach od 10 do 13 Października.

	r.	k.
Картофели (прив. 100 чет.) Kartofli przyw. 100 czet.	3	—
Сѣна пудъ (1000)—Siana pud (1000)	„	35
Соломы пудъ (500)—Słomy pud (500)	„	20
Льна пудъ.—Lnu pud	3	50
Сѣмяни льнянаго.—Siemienia lnianego	7	50
Масла пудъ—Masła pud	8	50